



Белорусский государственный университет  
*The Belarusian State University*

# Философия и социальные науки

Научный журнал

**The Journal  
of Philosophy and Social Sciences**

Издается с 2007 г.  
*Founded in 2007*

№ 2, 2010

Выходит 4 раза в год  
*Issued quarterly*

Редакционный совет: Стражев В. И. (председатель), Зеленков А. И. (зам. председателя), Бабосов Е. М., Баль К., Елсуков А. Н., Вишневский М. И., Данилов А. Н., Журавлев А. Л., Кирвель Ч. С., Ключня В. Л., Рубанов А. В., Тощенко Ж. Т.

*Editorial council: Strazhev V. (chairman), Zelenkov A. (vice-chairman), Babosov E., Ball K., Elsukov A., Vishnevsky M., Danilov A., Zhuravlev A., Kirvel Ch., Klyunia V., Rubanau A., Toschenko Zh.*

Редакционная коллегия: Рубанов А. В. (главный редактор), Легчилин А. А. (зам. главного редактора), Доброродный Д. Г. (отв. секретарь), Безнюк Д. К., Дынич В. И., Гусаковский М. А., Лазаревич А. А., Новиков В. Т., Резник Ю. М., Румянцева Т. Г., Ротман Д. Г., Слепович Е. С., Терещенко О. В., Титаренко Л. Г., Фурманов И. А., Шумская Л. И.

*Editorial board: Rubanau A. (editor-in-chief), Legchilin A. (deputy editor-in-chief), Dabrarodni D. (executive secretary), Beznyuk D., Dynich V., Gusakovsky M., Lazarevich A., Novikov V., Reznik Y., Rumyantseva T., Rotman D., Slepovich E., Tereschenko O., Titarenko L., Furmanov I., Shumskaya L.*

Адрес редакции:  
220004, г. Минск,  
ул. Кальварийская, 9, к. 524,  
тел.: (017) 259-74-07.  
E-mail: phse@bsu.by.

Журнал зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь  
15 января 2010 г. Свидетельство о регистрации № 1057.

*The journal was registered in the Ministry of Information of the Republic of Belarus  
in January 15, 2010. The certificate of registration number 1057.*

Подписано в печать 03.06.2010.  
Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Бумага офсетная.  
Ризография. Усл. печ. л. 10,23.  
Уч.-изд. л. 9,2.  
Тираж 100 экз. Заказ 419.

В соответствии с приказом Высшей аттестационной комиссии от 24 июля 2008 г. № 164 журнал включен в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по философским, социологическим и психологическим наукам.

*According to the order of the Supreme Certifying Committee from July 24, 2008,  
№164 the journal is included into the List of scientific publications of the Republic  
of Belarus for publishing the results of the dissertation research in philosophical,  
sociological and psychological disciplines.*

Отпечатано  
в РУП «Издательский центр БГУ».  
ЛП № 02330/0494178 от 03.04.2009.  
Ул. Красноармейская, 6, 220030, Минск.

# СОДЕРЖАНИЕ

---

## Социально-теоретические исследования

<i>Н. П. Рагозин. Концептуальные рамки анализа «общества риска»</i> .....	4
<i>Н. А. Станкевич. Взаимодействие традиций и инноваций как факторов социальной динамики (либеральная и консервативная модели)</i> .....	11
<i>М. Н. Мазаник. Информатизация, политика и социальная стабильность</i> .....	17

## История философии

<i>М. В. Тарасюк. Модели историко-философской темпоральности Г. В. Ф. Гегеля и Ж. Делёза: сравнительный анализ</i> .....	21
<i>А. А. Шеститко. Аналитическая философия: проблема определения и специфика историко-философской реконструкции</i> .....	26
<i>В. В. Бурсевич. Методология Тартуско-Московской семиотической школы и проблема идеологического анализа текста</i> .....	32

## Философия культуры и религии

<i>О. В. Шубаро. Апокрифическая апокалиптика в иудейской традиции</i> .....	38
<i>И. Б. Михеева. Неоязычество как религиозно-культурный феномен современности: проблема дефиниции</i> .....	43
<i>Н.В. Бедрицкая. Становление феноменологического подхода к исследованию религии</i> .....	49

## Социологические исследования

<i>Е. А. Кечина. Социолого-статистические исследования в отечественной науке (60–80-е гг. XX в.): специфические черты и методические особенности</i> .....	54
<i>А. И. Вороненко. Образование как социальный институт: теоретико-методологические проблемы изучения</i> .....	61
<i>Е. Н. Мисун. Профорентация и отбор сотрудников правоохранительных органов</i> .....	66

## Актуальные проблемы психологии

<i>Я. Е. Красовская. Психологические факторы агрессивного реагирования в ситуации фрустрации</i> .....	72
<i>Т. О. Кулинкович. Отражение социальных представлений о власти и подчинении в лексике массовой коммуникации</i> .....	77
<i>Ж. И. Трафимчик. Проблема «Я-концепции» в мире современных компьютерных технологий в фокусе зарубежных теорий личности</i> .....	83

# CONTENTS

---

## Researches in Social Theory

<i>N. Ragozin.</i> Conceptual Frames for «Risk Society» .....	4
<i>N. Stankevich.</i> Transaction of Traditions and Innovations as Factors of Social Dynamics (Liberal and Conservative Models).....	11
<i>M. Mazanik.</i> Informatization, Policy and Social Stability .....	17

## History of Philosophy

<i>M. Tarasiuk.</i> G.W.F. Hegel's and G. Deleuze's models of temporality of the history of philosophy: comparative analysis .....	21
<i>A. Shestitko.</i> Analytical Philosophy: The Problem of Definition and Historical Reconstruction .....	26
<i>V. Bursevich.</i> The Methodology of Tartu-Moscow Semiotic School and the Question of the Ideological Text Analysis .....	32

## Philosophy of Culture and Religion

<i>O. Shubaro.</i> The Apocryphal Apocalyptic in Judaic Tradition .....	38
<i>I. Micheewa.</i> Neo-paganism as a Modern Religious and Cultural Phenomenon: the Problem of Definition .....	43
<i>N. Bedritskaya.</i> Formation of Phenomenological Approach in Religious Studies .....	49

## Researches in Sociology

<i>E. Kechina.</i> Sociological-statistical Researches in the Native Science (60–80 years XX c.): Methodic-Information Analysis.....	54
<i>A. Voronenko.</i> Education as a social institute: theoretical and methodological problems of studying.....	61
<i>E. Misun.</i> Vocational guidance and selection of Law machinery's employees.....	66

## Urgent Problems of Psychology

<i>Y. Krasovskaya.</i> Psychological Factors of Aggressive Behavior in a Situation of Frustration .....	72
<i>T. Kulinkovich.</i> The Reflection of Social Representations of Power and Subordination in the Lexicon of Mass Communication.....	77
<i>Z. Trafimchyk.</i> The Problem of an „I-conception“ in a Modern World of a Computer Technology in a Hocus of a Foreign Theories of a Person .....	83

- *Концептуальные рамки анализа «общества риска»*
- *Взаимодействие традиций и инноваций как факторов социальной динамики (либеральная и консервативная модели)*
- *Информатизация, политика и социальная стабильность*

УДК 316.42

## Концептуальные рамки анализа «общества риска»

**Н. П. Рагозин**, кандидат философских наук, доцент\*

*Возникновение новых угроз и опасностей, с которыми сталкивается современное общество, порождает необходимость социально-философского и общесоциологического анализа данной проблемы. В статье рассматривается развитие способов концептуализации проблемы риска и опасности как характерных черт существования современного общества. Автор дает свою оценку различных концепций и высказывает соображения о возможных направлениях дальнейшего исследования данной проблемы.*

## Conceptual Frames for «Risk Society»

**N. Ragozin**, PhD in Philosophy, Associate Professor

*New threats and menaces arising, which modern society faces, give birth to necessity of social, philosophic and generally sociological analysis of the given problem. The article studies development of ways of risk problem conceptualization and their threat as characteristic features of modern society. The author gives his evaluation of various concepts and provides with his ideas of possible further directions of investigation of the given problem.*

Социально-философская и социологическая теория все большее внимание уделяет феномену риска, которым отмечена как (жизне)деятельность человека в современном обществе, так и функционирование его систем. Слово «риск», которое первоначально входило в лексикон мореплавателей [1, с. 41], к настоящему времени необычайно расширило сферу своего функционирования и начинает обретать статус понятия, без которого уже невозможно обойтись при анализе современного общества.

Американская исследовательница М. Дуглас ретроспективно намечает траекторию модификации смысла этого слова в западной культуре следующим образом: в XX в. это понятие вошло в политику; в XIX в. теория риска стала играть важную роль в экономике, поскольку для риска собственнику фирмы нужен особый стимул высокой прибыли, иначе он не станет инвестировать капитал; в XVIII в. анализ риска имел важные применения в морском страховании, в котором шансы корабля благополучно вернуться домой, принеся прибыль его владельцу, сопоставлялись с шансами его гибели в море, несущими разорение; в XVII в. это понятие разрабатывалось в связи с азартными

играми, для которых был разработан специальный математический анализ [2, с. 243].

Наблюдения М. Дуглас показывают, что феномен риска превращается в общественно значимую модель поведения людей в ходе становления капиталистического (или, как модно ныне выражаться, «модерного») общества. Эта модель поведения осмысливается и соответствующим образом концептуализируется вначале в специфических сферах деятельности – страховании возможных убытков от рискованных бизнесов и судебно-правовом определении ответственности за нанесенный ущерб. В содержательной статье Теодора Лоуви «Риск и право в истории американского государства» весьма убедительно показано на примере образцовой страны «свободного рынка», где царит культ предпринимательства, что существование бизнес-рисков опирается на целый ряд институциональных механизмов, гарантирующих безопасность ведения предпринимательской деятельности и перекладывающих ответственность за нанесенный бизнесменом ущерб либо на пострадавшего, либо на плечи всего общества [3, с. 253–267]. Таким образом, рискованное поведение в капиталистическом обществе возникает на базе институционального оформления разнообразных систем обеспечения безопасности, начиная с безопасности предпринимательской деятельности

\* Заведующий кафедрой социологии и политологии Донецкого национального технического университета.

и заканчивая созданными позднее различными системами страхования (личного имущества, жизни и здоровья, от несчастных случаев и безработицы, медицинского и пенсионного страхования, система защиты прав потребителей и т. п.).

В самом общем виде риск может быть определен как действия субъекта в опасной ситуации, которую надеется преодолеть, хотя успех этого предприятия не гарантирован. Таким образом, риск – это действия, направленные на вероятное преодоление опасности. При этом, рискованное действие, не будучи гарантированно безопасным, само является опасным, оказывается «зараженным» опасностью, которая охватывает как действие, так и бездействие.

Как отмечает российский автор В. Зубков, «во второй половине XIX – начале XX в. в связи с накоплением знаний о вероятностном характере ряда общественных, технических и природных процессов риск попадает в поле зрения и других наук, и, прежде всего, прикладной математической статистики» [1, с. 13]. Во второй половине XX в. проблема риска привлекает внимание еще более широкого круга научных дисциплин. Это связано не только с появлением рожденных научно-технической революцией сложных технико-социальных систем, отказы от которых чреваты серьезными катастрофами, но и с появлением оружия массового уничтожения, экологическими бедствиями, масштабными социально-политическими конфликтами и т. п. В исследовании проблем риска включаются технические, естественные, медицинские и психологические науки [4]. По оценке В. Зубкова, всего в исследовании различных аспектов риска оказалось вовлечено более 20 научных дисциплин. Это свидетельствует и о степени распространенности в современном обществе феномена риска, и об актуальности его исследования.

Риск начинает изучаться в самых разных аспектах, при этом все более настоятельной становится проблема его общего социально-философского осмысления. Общая теория риска не может пониматься как суммативная междисциплинарная теория, объединяющая социальные аспекты рисков, выделенные из частных (технических, естественных, медицинских или психологических) рискологий. Дело в том, что в них исходным пунктом исследования риска является индивид, в то время как социологическая теория должна исходить из общества. Риск уже не может рассматриваться как случайность, как результат стечения неблагоприятных обстоятельств, вынуждающих человека принимать чреватые опасностью решения, или же рассматриваться как следствие авантюрной при-

роды человека, которая толкает его на поиски опасностей. Общая теория риска должна понимать его как результат (этап или фазу) функционирования самой социальной системы, необходимо осмыслить социальную сущность риска, т. е. понять социальные законы его производства в современном обществе.

В настоящее время при обсуждении общей теории риска в качестве ее первых вариантов рассматриваются работы М. Дуглас, Э. Гидденса, Н. Лумана и У. Бека. Мы хотели бы включиться в это обсуждение, акцентировав свое внимание на концептуальных рамках постановки проблемы социальной природы риска в работах данных авторов.

#### **Никлас Луман: методологическо-эпистемологическая прелюдия к теории риска**

Сразу скажем, что мы согласны с оценкой О. Яницкого, который пишет: «Луман, таким образом, не предлагает законченной социологической теории риска. ...Луман пытается поставить социолога не в положение критика современного общества, вошедшего в эпоху глобального риска, а в положение компетентного эксперта, помогающего обществу вернуть утраченное состояние «нормальности»» [5, с. 15]. Нам представляется, что Луман именно потому и не смог предложить законченной теории риска, что он занял позицию эксперта, а не критика современного общества.

Теоретико-методологические импликации различий этих двух позиций заключаются в том, что «эксперт» недостаточно радикально, принципиально ставит вопрос о природе риска в современном обществе, рассматривая его как исправимую аномалию, в то время как «критик» рассматривает риск как проявление кризиса основ современного общества, делающего проблематичным его дальнейшее существование. «Эксперт» как фигура идеологически и политически нейтральная, вещающая от имени науки и с точки зрения современной «рациональности», тем не менее, предлагает свои заключения, предназначенные для защиты существующего положения вещей от разнообразных угроз и опасностей. Тем самым, он вольно или невольно становится апологетом статус-кво. Разнообразие и масштабность рисков, с которыми сталкивается современное общество, свидетельствует о том, что их нельзя преодолеть с помощью паллиативных решений, предлагаемых экспертами, равным образом, как их заклинания уже не оказывают успокоительного действия на общество.

Луман понимает недостаточность узкодисциплинарных определений риска. Он отмечает, что статистические подходы, теории решений и теории игр ограничиваются количественной кальку-

ляцией рисков, «которая, в общем, ориентируется на субъективные ожидания полезности». Но обществу требуются качественные границы осмысленности подобных калькуляций, которые он называет «порогом катастрофы», и учет социального распределения рисков между теми, кто принимает рискованные решения и теми, кого они затрагивают [6, с. 136].

Ход лумановской мысли о способе создания социологической теории риска достаточно ясно представлен в следующем рассуждении: «Добытое социологией знание о социальной обусловленности всякого переживания и действия, *mutatis mutandis* относится и к ней самой. Она не может наблюдать общество извне, она оперирует в обществе; и именно она-то и должна была бы это знать. Она может посвятить себя модным темам, поддерживать движения протеста, описывать опасности современной технологии и способы их измерения или предостерегать против необратимого ущерба, наносимого окружающей среде. Но то же самое делают и другие. Социология должна была бы добавить сюда теорию селективности всех общественных операций, включая и наблюдение этих операций и даже те структуры, которые детерминируют эти операции. Тогда, с точки зрения социологии, ...тема „риск“ относилась бы к теории современного общества и несла бы на себе отпечаток ее понятийного аппарата. Но такой теории не существует...» [6, с. 138].

Социология, согласно этому способу мысли, не должна искать позицию, которая бы отражала тенденции развития, выводящие за пределы современного общества. Она, конечно, может обсуждать «модные темы», заигрывать с движениями протеста и т. п., но ее действительное предназначение — двойная рефлексия: наблюдение за тем, как она «оперирует в обществе» (при этом, очевидно, предполагается, что общество является закрытой системой) и как она себя самой себе представляет («самореференция»). Так понимаемая социология страдает комплексом Нарцисса и ждать от нее серьезных прорывов в понимании рисков в современном обществе не стоит.

Наблюдение второго порядка, наблюдение наблюдателя, с помощью которого Луман пытается найти исходное понятие риска, способно, в лучшем случае, очистить и упорядочить материал первичного наблюдения. Это — предварительная, подготовительная стадия исследования. Само же исследование риска начнется тогда, когда мы начнем распутывать причины разрывов социальной ткани, которые создают угрозы безопасному существованию общества и понуждают индивидов к преодолению опасностей (рису).

### Культурологическая теория риска Мэри Дуглас

М. Дуглас исходит из того, что феномен риска следует объяснять культурой общества. Культура понимается как система ценностей, норм поведения, стандартов и предрассудков, которая регулирует взаимодействие индивидов в обществе. Культура предстает как «некоторая система, состоящая из личностей, которые считают друг друга и взаимно вменяемыми, и ответственными». В этой системе человек «пытается жить, придерживаясь известного уровня ответственности», который приемлем для него и сравним «с уровнем ответственности, на котором он хотел бы держать других людей» [2, с. 251]. С этой точки зрения, по мнению Дуглас, «культура предстает наполненной подразумеваемыми политическими предпосылками взаимной ответственности» [2, с. 251].

В традиционном обществе культурными регулятивами поведения людей служили идеи табу и греха, которые разграничивали дозволенное и недозволенное, безопасное и опасное. В современном обществе такую же роль играет идея риска. «По сути, — считает Дуглас, — риск обеспечивает мирские термины для переписывания одной из заповедей писания: не грехи отцов, но „риски“, высвобожденные отцами, падут на головы их детей, вплоть до двенадцатого колена» [2, с. 245]. Так же, как риск, категории греха и табу предостерегают от будущих поступков, которые могут нести опасность.

Но, несмотря на сходство, риск отличается от греха и табу. Во-первых, тем, на защиту чего они направлены. «Риторика в категориях греха и табу чаще используется, чтобы поддержать сообщество, уязвимое для дурного поведения индивида, в то время как риторика в категориях риска поддерживает индивида уязвимого для „дурного поведения“ сообщества» [2, с. 248]. Во-вторых, сферой применимости. Если табу и грехи были регулятивными категориями в небольших замкнутых общинах, то риск может использоваться в большом и «гомогенизированном» в культурном отношении обществе. В-третьих, если табу и грехи принимаются на веру и не подлежат дискуссии, то понятия риска и опасности рождаются в публичном диспуте, в ходе которого оппоненты пытаются защитить свою позицию и обвинить своих противников, с привлечением мнения экспертов для определения степени риска [2, с. 249]. При этом каждая сторона привлекает «своих» экспертов, в результате чего научное знание релятивизируется и теряет свой авторитет в обществе.

Исходя из этого, М. Дуглас считает: «Поэтому культурный диалог лучше всего изучать в те мо-

менты, когда он приобретает характер судебного. Понятие риска выходит на поверхность как ключевая идея новейших времен, благодаря его применению в качестве судебного механизма» [2, с. 244]. Проще говоря, идея риска в современном обществе — это политико-правовой механизм защиты индивида от посягательств власти. «„Риск“ призывают на службу для выпадов против злоупотреблений власти. Обвинение в создании обстановки риска — это дубинка для битвы авторитетов, средство расшевелить ленивых бюрократов, вырвать возмещение для жертв. Для всех этих целей разом „опасность“ была бы правильным словом, но плоская „опасность“ не имеет ауры научности или претензий на возможный точный расчет» [2, с. 244–245].

В культурологической теории риска не обсуждается реальность опасностей и рисков в современном обществе. Речь идет о способах их восприятия и использования в социальных взаимодействиях: «Заметим, что реальность опасностей, как таковая, здесь не оспаривается. Опасности ужасающе реальны в обоих случаях: и современном, и досовременном. Мы рассуждаем не о реальности опасностей, но об их политизированных формах» [2, с. 248]. Пожалуй, этим отрывком исследования восприятия опасности от исследования самой реальной опасности можно объяснить явственно ощутимый привкус релятивизма в культурологической теории риска.

#### **Теория рефлексивной модернизации и концепция «общества риска»**

Социологическая онтология риска разрабатывается в рамках теории рефлексивной модернизации и связанной с ней концепции «общества риска». В качестве ее наиболее видных представителей обычно называют Энтони Гидденса и Ульриха Бека. Но, как нам представляется, Гидденса более занимает концепция рефлексивной модернизации, а теория риска для него имеет факультативное значение. Несмотря на то, что он рассматривал проблему риска в книге «Последствия современности» (1990), был участником инициированной У. Бекон книги-диспута трех авторов — У. Бек, Э. Гидденс, С. Лэш «Рефлексивная модернизация» (1994), а также посвятил этой проблеме главу в книге «Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь» (1999), тем не менее в его фундаментальных работах «Устроение общества: Очерк теории структурации» и не менее известном учебнике социологии понятие риска не упоминается в глоссариях и эта проблематика не отражена в разделах этих книг.

Нам представляется, что риск для Э. Гидденса является важным индикатором процессов модер-

низации современного общества, но не критической проблемой, обнажающей кризис основ современного общества системы. С одной стороны, Гидденс как бы признает принципиальное значение проблемы риска для понимания современного общества. Он пишет: «Понятие риска становится центральным в обществе, которое прощается с прошлым, с традиционными способами деятельности, которое открывается для неизведанного будущего» [7, с. 109]. С другой стороны, он успокаивающе заявляет: «То внимание, которое уделяется риску в современной социальной жизни, не связано непосредственно с реальным усилением грозящих жизни опасностей. На уровне индивидуальной жизни, ...люди в развитых обществах находятся в более безопасном положении, чем в предшествующие столетия» [7, с. 111].

Гидденс выделяет два вида риска: внешний риск, «причина которого лежит вне нас самих: она связана с неизменными традициями или законами природы», и рукотворный риск, связанный с нашим познанием и преобразованием окружающего мира [8, с. 43]. Различия этих двух видов риска становятся в современном мире размытыми, поскольку общество существует в эпоху, когда природе, по выражению английского социолога, «пришел конец» [8, с. 44]. «Конец природы» следует понимать в том смысле, что мы сплошь и рядом не в состоянии оценить, где в современном мире кончается естественное и начинается искусственное, и наоборот.

Современное общество переживает поворотный момент в своей истории: если прежде нас беспокоило то, «что может сделать с нами природа», то теперь нас беспокоит то, «что мы можем сделать с ней» [8, с. 44]. На смену преобладанию внешнего риска приходит господство рукотворного риска.

Если прежде внешние риски воспринимались как рок, фатум, перед лицом которых человек обращался к оракулам или искал расположения божественных сил в поисках выхода из опасностей, то теперь «на помощь призываются эксперты» [7, с. 111]. Человек собственными руками разрушил «онтологическую безопасность» и сотворил «роковые моменты», понимаемые Гидденсом как «время, когда обстоятельства сходятся таким образом, что человек оказывается как бы на перепутье своего существования, или когда человек узнает нечто, имеющее для него судьбоносное значение» [7, с. 110]. Но судьба эта уже не задана и ничем не гарантирована. В эти моменты человек ищет социальной поддержки, «общей судьбы» с другими индивидами, которую он может представить в основном рефлексивно. Такие поворотные мо-

менты остро ставят перед человеком проблему самоидентичности, которая решается в рефлексивном (ре)конструировании традиции. В «Ускользящем мире» вслед за главой о риске у Гидденса идет глава, посвященная традиции, точнее говоря, о конструируемых традициях современного общества, как тех «коконах безопасности», в которых пытается укрыться человек. В результате непредсказуемым становится не только будущее, которое человек дерзко намеревался «колонизовать» и подчинить своей воле, но и прошлое, которое замещается квазитрадициями.

Безусловно, эти социологические наблюдения представляют интерес и важны для характеристики современного общества. Мы на собственном опыте имеем возможность убедиться, что непредсказуемым в нашем мире становится не только будущее, но и прошлое. Но рефлексивная теория риска Гидденса не указывает пути дальнейшего развития нашего мира и ограничивается анализом некоторых аспектов его наличного состояния.

Более глубоко и принципиально проблему риска в современном обществе ставит У. Бек. Прежде всего, он отмечает, что прежняя система безопасности, существовавшая в капиталистическом обществе, уже не работает: «...с середины этого века социальные институты индустриального общества столкнулись с исторически беспрецедентной возможностью уничтожения всей жизни на планете в результате принятия определенных решений. Это отличает нашу эпоху не только от ранней стадии индустриальной революции, но и от всех прочих культур и общественных форм, как бы ни расходились они и ни противоречили друг другу в деталях» [9, с. 165]. Перед столь глобальной и радикальной угрозой институты современного общества совершенно беспомощны: «Нет ни одного института — ни реально, ни, видимо, даже в замысле, — который был бы готов к «наихудшему мыслимому бедствию», как нет и формы общественного порядка, которая обеспечивала бы социальные и политические гарантии в этом худшем из возможных случаев. Зато есть много желающих специализироваться в одной единственной области — в отрицании этих угроз» [9, с. 165]. Эти угрозы ставят под вопрос социальную и политическую стабильность общества, которая сохраняется только благодаря отказу от обдумывания последствий [9, с. 166].

Таким образом, проблема риска у У. Бека ставится более четко и исторически конкретно. Если Гидденс связывает ее с более общей проблемой отношения природы и общества, то Бек помещает ее в контекст смены этапов в развитии современного общества — в переходе от индустриального к по-

стиндустриальному обществу, который он именуется рефлексивной модернизацией. В этом же исторически конкретном контексте у Бека рассматривается и изменение характера взаимоотношений общества и природы.

Принципиальный сдвиг в масштабе и характере угроз в обществе эпохи рефлексивной модернизации Бек резюмирует в четырех параметрах разрушения прежней системы безопасности индустриального общества: «Говоря точнее, атомные, химические, генетические и экологические мегаугрозы разрушают четыре опоры исчисления рисков. Здесь имеется в виду, во-первых, глобальный, часто непоправимый ущерб, который уже нельзя ограничить; тем самым рушится концепция денежного возмещения (компенсации). Во-вторых, в случае смертельных глобальных угроз исключены действенные меры предосторожности на основе предвидения последствий „наихудшего мыслимого бедствия“; это подрывает идею безопасности, обеспечиваемой „предупреждающим отслеживанием результатов“. В-третьих, само понятие „бедствие“ утрачивает границы во времени и пространстве и тем самым смысл. Оно становится событием, имеющим начало и не имеющим конца, своеобразным непредсказуемым „вольным пиршеством“ крадущихся, скачущих и накладывающих друг на друга волн разрушения. Но ведь это и подразумевает потерю меры нормальности, утрату процедур измерения и, следовательно, реальной основы для расчета опасностей: сопоставляются друг с другом несравнимые сущности, и расчет, исчисление оборачиваются лишь затемнением расклада» [9, с. 165].

Наконец, в-четвертых, «некалькулируемость» последствий и размеров угроз выявляется в недостатке ответственности за них: «Научное и юридическое признание угрожающих факторов осуществляется в нашем обществе в соответствии с принципом причинности, с принципом „загрязнитель платит“. Но что инженерам и юристам кажется самоочевидным, фактически даже этическим требованием, то в сфере мегарисков становится крайне сомнительным и парадоксальным» [9, с. 165].

Детальное изложение черт современного «общества риска» представлено У. Бекком в книге «Общество риска. На пути к другому модерну» (М., 2000). Рассмотрим основные положения концепции Бека.

1. «В развитых странах современного мира общественное производство богатств постоянно сопровождается производством рисков» [10, с. 21]. Соответственно, логика распределения богатства в обществе сменяется логикой распределения рисков. Общество риска — это фактически новая па-



радикала общественного развития. Ее суть в том, что господствовавшая в индустриальном обществе «позитивная» логика общественного производства, заключающаяся в накоплении и распределении богатства, все более перекрывается (вытесняется) «негативной» логикой производства и распространения рисков.

2. Производство рисков «демократично»: в конечном счете риски настигают и поражают тех, кто наживался на их производстве или же считал себя от них застрахованным. Производство рисков – мощный фактор перестройки социальной структуры общества по критерию степени подверженности рискам. Это означает, что в обществе складывается новая расстановка политических сил, в основе которой лежит борьба за определение, что рискогенно (опасно) и что – нет.

3. Если нормативным идеалом прошлой эпохи было равенство, то нормативный идеал общества риска – безопасность. Социальный проект общества приобретает отчетливо негативный и защитный характер: не достижение «хорошего», как ранее, а предотвращение «наихудшего». Иными словами, система ценностей «неравноправного общества» замещается системой ценностей «небезопасного общества», а ориентация на удовлетворение новых потребностей – ориентацией на их самоограничение.

4. Если индустриальное общество было ориентировано на труд, то теперь «массовая безработица интегрируется через новые формы «многообразной неполной занятости» в систему занятости – со всеми вытекающими отсюда рисками и шансами» [10, с. 15]. Традиционная классовая и профессиональная структура размывается, но взамен в обществе риска возникают новые социальные силы, взламывающие старые социальные перегородки. Появляются новые социальные противоречия между теми, кто «подвержен рискам, и теми, кто извлекает из них выгоду», между теми, кто «производит риски, и теми, кто их потребляет» [10, с. 56]. Бек полагает, что возникают общности «жертв рисков» и их солидарность может породить мощные политические силы.

5. Формируется институт экспертов, приобретающий самодовлеющее политическое значение, поскольку именно он определяет, что и насколько опасно. Эксперты превращаются в элиту, третирующую остальное население как алармистов-непрофессионалов, подрывающих общественный порядок. Разделение общества на экспертов и всех остальных вызывает у рядовых граждан стойкую реакцию недоверия к науке и технологической сфере. В результате наука как социальный институт разделяется на две части: академическую или

лабораторную (науку фактов) и науку опыта, которая основывается на публичных дискуссиях и жизненном опыте.

6. Размываются границы политики. «Формально существующие права и компетенции на принятие решений истончаются. Политическая жизнь в изначальных центрах формирования политической воли теряет содержательность, грозит окостенеть в ритуалах» [10, с. 293]. С одной стороны, официальная политическая система сталкивается с последствиями научно-технических решений, которых она не принимала, но вынуждена оправдывать и легитимировать ссылками на священного идола прогресса; с другой – все больше новых общественно-политических сил и движений предпринимает политические действия за пределами официальных политических арен. Одновременно на международной арене возникает новое международное неравенство, поскольку существует «постоянное взаимное «притяжение» между крайней бедностью и крайним риском» [10, с. 49].

Таким образом, У. Бек предлагает нам действительно целостную концепцию «общества риска», охватывающую все его стороны. Ведущей идеей этой концепции является мысль о том, что современное общество вступило в фазу полной перестройки своих основ. Бек полагает, что «в проект индустриального общества на разных уровнях – например, в схему «классов», «небольшой семьи», «профессиональной работы», в понятия «науки», «прогресса», «демократии» – встроены элементы индустриально-имманентного традиционализма, основы которых становятся хрупкими и аннулируются в рефлексивности модернизаций» [10, с. 16]. Эта рефлексивная перестройка основ индустриального общества, тем не менее, мыслится Бекком лишь в горизонте его дальнейшего существования в обновленном виде. Он полагает, что «другой модерн» в основе своей будет тем же модерном: «Вместе с тем распространение и умножение рисков ни в коей мере не порывает с логикой развития капитализма, а, скорее, поднимает эту логику на новую ступень» [10, с. 26]. А, стало быть, несмотря на все потрясения, у этого нового-старого модерна есть будущее. Если защититься от политического потенциала катастроф «общества риска» и овладеть им, то это может привести «к реорганизации власти и компетенции» [10, с. 27].

Концепция «общества риска» У. Бека обладает большим эвристическим потенциалом. Она предполагает комплексный, системный анализ общественного производства рисков в современном обществе и слома сложившейся на предшествующем этапе системы обеспечения его безопасности. Однако концепция У. Бека разрабатывается в го-

ризонте судеб развитых капиталистических стран, переживающих этап перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, между тем как в современном мире существуют доиндустриальные общества, общества, активно завершающие стадию своей индустриализации (Индия, Китай, Бразилия) и общества, которые сталкиваются с угрозой деиндустриализации (некоторые постсоциалистические страны, не исключая и Украину). Очевидно, что для них существует другой набор и динамика рисков, отличные от той модели, которую предлагает У. Бек.

Подводя итоги, сформулируем те общие посылы, которые, как показывает предшествующий опыт разработки теории «общества риска» должны лежать в ее основании: 1) общая теория не является суммой частных рискологий, частные теории должны быть производными от общей теории; 2) общая теория должна вскрыть необходимый характер производства риска в современном обществе, связанный с кризисом его основ, разрушением систем обеспечения безопасности и самовоспроизводства общества; 3) общая теория должна быть комплексной, она обязана проследить все следствия производства рисков в экономической, социальной, политической и духовной сферах общества; 4) анализ кризиса основ общества в современном глобальном мире должен иметь исторически конкретную спецификацию: риски постиндустриального общества следует отличать от рисков доиндустриального общества, от рисков индустриализирующегося и деиндустриализирующегося обществ; 5) теория общества рисков должна быть критической, а не «экспертной», апологетической.

#### Список цитированных источников

1. *Зубков, В.* Социологическая теория риска / В. Зубков. — М.: РУДН, 2003. — С. 41.
2. *Дуглас, М.* Риск как судебный механизм / Мэри Дуглас // *THESIS*. — 1994. — Вып. 5
3. *Лоуви, Т.* Риск и право в истории американского государства / Теодор Лоуви // *THESIS*. — 1994. — Вып. 5.
4. Первоначальная социологическая концептуализация проблемы риска осуществлялась путем выделения и осмысления социальных аспектов рисков, с которыми сталкивается человек в различных сферах своей деятельности и в различных сторонах своего существования в современном обществе, что нашло отражение в таких, например, работах: Альгин А. П. Грани экономического риска. — М.: Знание, 1991; Артемчук В. В. Безопасность труда в промышленности. — М., 1991; Архипова Н. А., Кульба В. В. Управление в чрезвычайных ситуациях. — М.: РГГУ, 1994; Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и статистика, 1996; Бодров В. А., Орлов В. Я. Психология и надежность: Человек в системах управления техникой. — М.: Ин-т психологии РАН, 1998; Быков А. А., Мурзин Н. В. Проблемы анализа безопасности человека, общества и природы. — СПб.: Наука, 1997; Ваганов П. А. Ядерный риск: учеб. пособие. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1997; Голуб Н. А. Классификация рисков в личном потреблении // *Социол. исслед.* — 1996 — № 8. — С. 139–141; Дюкло Д. Страх и знание: общество лицом к науке, технике и их опасностям. — М.: ИНИОН РАН, 1992; Корнилова Т. В. Диагностика мотивации и готовности к риску. — М.: Ин-т психологии РАН, 1997; Кроз М. В., Липатов С. А., Чинкина О. В. Особенности восприятия риска радиационного воздействия специалистами и неспециалистами в области атомной энергетики // *Вопр. психологии*, 1993. — № 5. — С. 59–65; Кургузов В. Т. Социально-медицинские аспекты работы с населением групп риска: дис. ... канд. социол. наук. — М., 1998; Лагадек П. Чрезвычайное положение в условиях технологических аварий и социальной дестабилизации: реферат. — М.: ИНИОН РАН, 1989; Методы управления и принятия решений в условиях риска и неопределенности: сб. науч. тр. / АН Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова. — Киев, 1993; Мозговая А. В. Технологический риск и экологическая составляющая качества жизни населения. Возможности социологического анализа. — М.: Диалог-МГУ, 1999; Попов В. М. Психология безопасности профессиональной деятельности: учеб. пособие. — Новосибирск, 1997; Социальные проблемы экологии и технологического риска: реф. сб. / отв. ред. Э. В. Гирусов [и др.]. — М.: ИНИОН РАН, 1991; Ступницкий В. Управление персоналом социотехнических систем в экстремальных условиях // *Проблемы теории и практики управления*. — 1995. — № 1. — С. 115–121; Человек в экстремальной производственной ситуации (опыт социологических исследований ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС). — Киев: Наук. думка, 1990.
5. *Яницкий, О. Н.* Социология риска / О. Н. Яницкий. — М.: LVS, 2003.
6. *Луман, Н.* Понятие риска / Никлас Луман // *THESIS*. — 1994. — Вып. 5.
7. *Гидденс, Э.* Судьба, риск и безопасность / Энтони Гидденс // *THESIS*. — 1994. — Вып. 5.
8. *Гидденс, Э.* Ускользящий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Энтони Гидденс. — М.: Весь мир, 2004.
9. *Бек, У.* От индустриального общества к обществу риска / Ульрих Бек // *THESIS*. — 1994. — Вып. 5.
10. *Бек, У.* Общество риска. На пути к другому модерну / Ульрих Бек. — М.: Прогресс-Традиция, 2000.

Дата поступления в редакцию: 19.02.2010 г.

УДК 101.1:316.75 (091)

## Взаимодействие традиций и инноваций как факторов социальной динамики (либеральная и консервативная модели)

Н. А. Станкевич, аспирант\*

*В статье осуществляется компаративный анализ аксиологических ориентаций консерватизма и либерализма как возможных предпосылок для разработки идеологических стратегий консолидации и развития обществ переходного типа.*

## Transaction of Traditions and Innovations as Factors of Social Dynamics (Liberal and Conservative Models)

N. Stankevich, Postgraduate Student

*The article presents the comparative study of liberal and conservative value orientations as possible factors for elaboration of ideological strategies of transitional societies' development.*

### 1. Формирование аксиологических установок в классической консервативной и либеральной моделях

Одной из основных проблем развития современного общества является выбор магистрального направления и оснований глобальных социальных трансформаций. Господство идеологии «общества потребления» привело к тому, что данные основания приобрели преимущественно утилитарный, прагматический характер, когда основным критерием прогресса стало считаться производство все большего объема материальных благ и услуг. На рубеже XX–XXI вв. человечество столкнулось с масштабным кризисом, затронувшим практически все стороны общественного бытия. Возникла необходимость пересмотра критериев прогресса, выделение не материальных, а аксиологических его оснований. В этих условиях особую значимость приобрела преобладание ценностных структур на различных этапах бытия социальных систем, реализующаяся, прежде всего, посредством традиции. Социально-философский анализ феномена традиции акцентирует внимание на двух его аспектах: с одной стороны, «традиция представляет собой совокупность основных доминантных ценностей конкретно-исторического типа культуры, которые транслируются в новые формы социальности» [1, с. 144]. С другой стороны, не меньшим, чем содержание традиции значением обладает и сам алгоритм трансляции определенных ценностных

структур; именно от его функционирования зависит эффективность трансляции и адекватного восприятия ценностных установок. Таким образом, традиция может быть рассмотрена, с одной стороны, как определенный статичный набор ценностей, представляющий собой аксиологическую основу социальных трансформаций, придающий им определенную направленность и единообразие, а с другой — как динамическая система, обеспечивающая эту трансляцию.

Очевидно, однако, что прогресс не может обеспечиваться исключительно дублированием опыта предшествующих форм социального устройства. Именно поэтому социальная динамика основывается на диалектической зависимости традиции и инновации, которая представляет собой новые, не имевшие места ранее явления общественного бытия. Взаимная зависимость категорий традиции и инновации видоизменялась с течением времени. Различные варианты корреляции традиции и инновации в социально-политическом контексте были разработаны ведущими политическими идеологиями, сформировавшимися под влиянием событий Французской революции 1789 г., а именно в консерватизме и либерализме. Особое внимание их как либеральных, так и консервативных теоретиков было сосредоточено на двух основных проблемах: с одной стороны, становление нового социального устройства и соответствующая трансформация общественных институтов; с другой — смена мировоззренческой парадигмы, происшедшая под влиянием идей Возрождения и Реформации: гуманизма, лаицизма, веры в бесконечный

\* Научный руководитель — доктор философских наук, профессор А. И. Зеленков.

прогресс, материализма, историзма и т. д. Таким образом, предметом как либеральной, так и консервативной рефлексии являлись следующие проблемные поля: праксеологические основания нового типа социального устройства и глобальная трансформация аксиологических установок и ориентаций.

Необходимо отметить, что подобное разделение практической направленности и ценностного обоснования социальных изменений существовало и в предшествующие эпохи, однако до конца XVIII в. динамика социальных изменений определялась и направлялась в большей степени аксиологическими императивами. После Великой французской буржуазной революции ситуация претерпела кардинальные изменения: на смену примата ценностных ориентиров пришли праксеологические критерии прогресса. В результате сформировалась сложная мировоззренческая ситуация, при которой социальные изменения не были подкреплены соответствующей системой ценностей, направляющей процесс изменений. В условиях глобальных социальных трансформаций аксиологические стандарты предшествующей эпохи были отвергнуты, и образовавшаяся лакуна была заполнена ценностными установками качественно иного, утилитарного характера. Таким образом, праксеологические характеристики социальной динамики приобрели статус первоочередных и стали оказывать значительное влияние на формирование их ценностной основы. Был сформирован аксиологический комплекс, призванный обосновывать новую социальную ситуацию и тем самым легитимизировать ее.

Подобное осмысление аксиологических оснований бытия было положено в основание либеральной теории (Дж. Локк, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо и др.). Классические ценности либерализма: индивидуализм, приоритет личности перед сообществом, свобода, равенство и т. д., хоть и были сформулированы в несколько идеалистической манере, обладали прикладным характером. Так, идея свободы находила свое воплощение в качестве свободы частной предпринимательской инициативы, которая служила источником благосостояния общества, и в качестве свободы политической. Равенство, интерпретировавшееся на начальных этапах формирования либеральной идеологии как изначальное равенство индивидуальных человеческих личностей, впоследствии трансформировалось в равенство перед законом в политической сфере и равенство стартовых возможностей — в экономической области.

Конец XIX в. ознаменовался еще большей рационализацией либеральных ценностных устано-

вок. Как указывает Дж. Дьюи: «Идея Локка о естественных правах приобрела более конкретное и более практическое значение. Естественные права по-прежнему воспринимались как более фундаментальные, чем права искусственные, изобретенные человеком. Однако такие естественные права утратили свойственное им ранее моральное осмысление и идентифицировались с правами на свободное промышленное производство и свободный торговый обмен» [2, с. 58]. Данная тенденция позволила позднее одному из наиболее репрезентативных представителей либертаризма, Л. Мизесу, охарактеризовать либеральную модель следующим образом: «В конечном счете либерализм не имеет никакой иной цели, кроме как повышение материального благосостояния людей, и не касается их внутренних, духовных и метафизических потребностей» [3].

Таким образом, либерализм сформировался как система апологетики радикальных социально-политических и культурных изменений, порожденных Французской революцией 1789 г. В более глобальном масштабе либеральная идеология, как отмечает И. Валлерстайн, «впервые сделала допустимой мысль о «нормальности», а не исключительности таких явлений на политической арене — по крайней мере, на современной политической арене, — как изменения, нововведения, преобразования и даже революции» [4, с. 76]. Соответственно, либеральная идеологическая модель изначально обладала значительным креативным потенциалом для динамического развития общественной системы, была настроена на конструктивное преобразование общества на основании рациональных критериев. Благодаря этим особенностям либерализм создал благоприятную почву для внедрения различных инноваций во все сферы социального бытия. Динамичное развитие общественной системы стало одним из основных либеральных постулатов. С другой стороны, критерии общественного прогресса понимались несколько односторонне, будучи связаны исключительно с понятиями прогресса в материально-технологической сфере.

В свою очередь, консерватизм избрал в качестве магистрального вектора своего развития методологическую оппозицию происходившим переменам как в социальной сфере, так и в мировоззренческой. Обосновывая определенный тип общественного устройства, консерваторы ориентировались на социальные институты прошлого, основной характеристикой которых была не функциональность и практичность, как в либеральной теории, а легитимность, подтвержденная многовековой историей их существования.

Длительное существование того или иного типа социального устройства объяснялось консерваторами тем, что оно освящено Божественной волей, которая и сохраняет его в неизменном состоянии. Таким образом, консервативная идеология выдвинула альтернативную, качественно отличную от либеральной систему аргументации, в основе которой лежали внерациональные, трансцендентные принципы и законы. В духовно-психологическом плане консерватизм обратился к иррационализму, ориентированному на поиск метафизических, трансцендентных оснований общественного бытия, всеобщих принципов, благодаря которым это бытие обретает высший, вневременной смысл. Идеальное воплощение подобных принципов было соотнесено с прошлым, и именно поэтому единственной легитимной основой для общественного развития являлась для консерваторов традиция. Необходимо отметить, что для консерваторов первостепенное значение имело именно содержание традиции, тот комплекс базовых ценностей, который должен был транслироваться от предшествующего типа социального устройства к последующему в практически неизменном виде. В такой ситуации устройство механизма трансляции, поиска оптимального соотношения между традицией и инновацией отходило на второй план.

Таким образом, на этапе формирования классических версий либеральной и консервативной идеологии одной из центральных проблем стала рефлексия над происходившими социальными трансформациями. Как либеральные, так и консервативные теоретики столкнулись с необходимостью создания оптимальной системы соотношений между набирающим темп экономическим прогрессом с одной стороны, и устоявшейся традиционной системой ценностей, в основании которой далеко не всегда лежали рациональные компоненты — с другой. В этих условиях либерализм утвердил в качестве первостепенных прагматические критерии прогресса, используя ценностную аргументацию лишь как средство их легитимации. В свою очередь, консерватизм, отрицая подобный путь инновационного развития, акцентировал внимание на сохранении традиционных форм общественного бытия, подчеркивая при этом непреходящую актуальность и значимость иррациональных его оснований.

## **2. Ценностные основания неолиберализма и неоконсерватизма в условиях глобализации**

Проблема поиска оптимального соотношения между прагматическими и аксиологическими критериями прогресса не утратила своей актуаль-

ности и в XX в. Более того, масштабный кризис, с которым столкнулось человечество на пороге нового тысячелетия, сделал императивной трансформацию не только материальных условий существования, но и мировоззренческих установок. Стало очевидно, что ни либеральная, ни консервативная идеологические теории в своих классических интерпретациях не обладают достаточным эвристическим потенциалом, чтобы эффективно противостоять глобальным вызовам современности. Общество потребления, основанное на либеральных ценностях свободы, индивидуализма, практически не контролируемой рыночной экономики, в значительной мере утратило свой изначальный потенциал. «Великая депрессия» первой трети XX в., становление постклассического типа рациональности, сомнения в идее бесконечного прогресса, становление «эпохи социального пессимизма» привели к серьезным изменениям в либеральной мировоззренческой модели [5, с. 209]. В то же время классическая консервативная модель, ориентированная на сохранение и трансляцию одного и того же типа социального устройства, очевидным образом утратила свое значение в условиях глобальных трансформаций, охвативших все стороны социального бытия.

Реакцией на кризисные тенденции мирового развития стало формирование неолиберальной и неоконсервативной идеологических моделей, перед которыми возникла необходимость глубокого пересмотра постулатов их классических версий. Для либерализма данная ситуация представлялась более сложной, поскольку либеральная модель изначально не предназначалась для ответов на экзистенциальные вопросы поиска метатеоретических оснований бытия и трансцендентных принципов и законов его функционирования. Масштабный кризис ценностных установок позволил говорить о том, что подобный чисто утилитарный подход, предлагаемый либеральной моделью, продемонстрировал свою недостаточность. Значительный вклад в его реформирование внес Ф. фон Хайек, сосредоточивший свое внимание на пересмотре ценностных оснований либеральной теории. На смену уравнительному по своей сути принципу равенства Ф. фон Хайек ввел принцип «истинного индивидуализма», подразумевавшего принципиальное неравенство людей, благодаря которому только и возможно рациональное устройство общества. «Благодаря тому, что... люди в действительности не являются одинаковыми, мы можем рассматривать их как равных. Если бы все люди были совершенно одинаковы в своих дарованиях и склонностях, нам надо было бы относиться к ним по-разному, чтобы достичь хоть ка-

кой-то формы социальной организации. К счастью, они неодинаковы, и только благодаря этому дифференциация функций не нуждается в том, чтобы ее устанавливало произвольное решение некоей организующей воли. При установлении формального равенства перед законами, применяемыми ко всем одинаково, мы можем позволить каждому индивиду самому занять подходящее ему место» [6].

Каждый индивид в обществе выполняет функцию, в наибольшей степени соответствующую его склонностям. Подобная интерпретация была противопоставлена видению индивидуализма, основанному на рационалистических идеях философии Просвещения и приводящему, по мысли Ф. фон Хайека, к становлению социалистических идей. Принцип «истинного индивидуализма» проявился и в экономической области, где основной характеристикой является свободная рыночная система, основанная на конкуренции. Необходимо отметить, что, хотя Ф. фон Хайек и пересматривает определенные аспекты либеральной ценностной системы, его анализ не направлен на глубинное изменение самого их характера. Как и прежде, основным критерием прогресса остается эффективное функционирование материальной сферы общественного устройства. Более того, принцип утилитарности переносится и на межличностные и межгрупповые отношения, особенно в экономической сфере, где доходы индивида определяются исключительно эффективностью его деятельности, а в случае потери им трудоспособности снижаются лишь до необходимого минимума.

С другой стороны, определенные положения, которые Ф. фон Хайек вводит в неолиберальную теорию, приближают его к неоконсервативным трактовкам. Ссылаясь на то, что рынок может управляться лишь при наличии объективной информации о его состоянии, философ, однако, отмечает, что индивиды далеко не всегда имеют к ней равный доступ. Более того, характеризуя рынок не только как экономическое, но и мировоззренческое понятие, Хайек обращает внимание на то, что в этом качестве рынок не может быть до конца рационально осмыслен. Для ориентирования в сложной системе рыночных отношений, которые отнюдь не ограничиваются экономической сферой, индивиду необходимо обратиться к традиции, под которой автор понимает своеобразную социальную привычку, следование установленному образцу. В дальнейшем неолиберальная идеология в значительной мере приблизилась к своим трактовкам к неоконсервативным интерпретациям (например, в отношении роли государ-

ства), однако ключевая проблема формирования трансцендентной, не связанной с критерием утилитарности ценностной базы остается для либерализма открытой.

Что касается неоконсерватизма, то его реакция на современную кризисную ситуацию проявилась в фактическом разделении консервативной идеологии на два взаимосвязанных, но не идентичных уровня. Первый из них можно назвать политическим, на котором консерватизм выступает в качестве политической идеологии и, как таковой, составлял и составляет идеологическую платформу для политических программ отдельных государственных лидеров и политических партий (Р. Рейган, М. Тэтчер и др.). На этом уровне положения консерватизма, в свою очередь, приближаются к либеральным трактовкам.

Иная ситуация складывается на втором уровне — уровне консервативной экзистенциальной рефлексии. Теоретическое ее обоснование отражено, к примеру, в творчестве Ж. Эллюля, который, выступая с позиций антипрогрессизма, отвергал сугубо рационалистическую форму, которую принял прогресс в настоящее время. Основывая свои рассуждения на анализе феномена техники, Ж. Эллюль пришел к выводу о том, что ее природа напрямую связана с состоянием духовных, внерациональных потребностей современного мира, и приводит к так называемому «техническому детерминизму» — состоянию, которое в предельной степени рационализирует и стандартизирует социальное и индивидуальное бытие человеческой личности, отвергает ее духовные и нравственные потребности, пресекает возможности свободного, ничем не ограниченного творчества [7]. Параллельно с философской концепцией Ж. Эллюля произошло становление взглядов представителей течения «консервативной революции» (Ю. Эвола, Р. Генон, А. де Бенуа и др.). Развивая свои теории, эти мыслители подчеркивали их принципиальную несовместимость с деятельностью каких-либо политических партий или общественных организаций, поскольку речь шла об изменении человеческого мышления и принципиально иных, внерациональных способах мышления. В связи с этим можно говорить о методологической близости данных авторов иррационалистическим программам философствования, экзистенциализму, постмодернизму и различным религиозно-философским концепциям. Анализируя проблемы социальной динамики, философы этого направления внесли новый аспект в понимание сущности традиции. Данное понятие отождествляется в их понимании не только с определенным набором ценностей и механизмом их

трансляции — традиция сама по себе приобретает статус ценности и признается онтологическим основанием социального бытия. Она представляет собой некий вневременной принцип, который может воплощаться в различных социальных или политических институтах, но при этом несводим к ним и сам всегда неизменен. Как отмечает Ю. Эвола, Традиция — это не «историческая данность, а духовное явление» [8, с. 145]. Соответственно, чисто социальные трансформации никогда не могут привести к установлению истинной стабильности, если упустить из виду необходимость изначального согласия в отношении основополагающих и абсолютных принципов развития [9]. В подобном ракурсе представителями «консервативной революции» рассматриваются основные проблемы современного общества.

Одним из аспектов социальной критики неоконсерваторов выступает кризис духовности и связанное с ним явление «второй религиозности», или неоспиритуализма. Данный феномен проявляется, прежде всего, в появлении значительного числа различных мистико-религиозных сект, основывающих свои учения на традиционных восточных религиозно-философских концепциях. При этом, хотя Ю. Эвола и считает восточную цивилизацию в наибольшей мере приближенной к изначальной Традиции, о которой шла речь выше, деятельность подобных сект он характеризует как деструктивную, поскольку их создатели, как правило, лишь весьма поверхностно знакомятся с теориями, на которых строят свои учения, и заимствуют из них лишь отдельные, возможно, наиболее привлекательные, но далеко не системообразующие элементы. Кроме того, не имея достаточно глубоких знаний об истоках своих концепций, они искажают смысл и тех элементов, которые привносятся в их учение, и в результате между неокультами и исконной Традицией остается лишь весьма условное внешнее сходство. Появление неокультов связывается неоконсерваторами, в частности Р. Геномом, с кризисом лаицистской гуманистической традиции, основанной на идеалах эпохи Возрождения и Реформации. «Гуманизм представлял собой первую форму того, что впоследствии стало современным „лаицизмом“, — чисто секулярным, светским мировоззрением. Именно благодаря своему стремлению свети все к человеку как к самоцели, современная цивилизация вступила на путь последовательных нисхождений и деградации, завершившихся обращением к уровню нижайших элементов в человеке и ориентацией на удовлетворение его наиболее грубых, материальных запросов, что само по себе является достаточно иллюзорной целью, поскольку

ку цивилизация постоянно порождает значительное количество искусственных потребностей, чем она сама способна удовлетворить... Определяемый таким образом индивидуализм можно рассматривать как главную причину настоящего упадка Запада, поскольку он тождественен развитию исключительно низших возможностей человечества, возможностей, не требующих для своей актуализации никакого вмешательства сверхчеловеческого элемента и, более того, способных свободно реализоваться лишь при полном отсутствии такого сверхчеловеческого элемента, так как эти низшие возможности суть полная противоположность всякой духовности и всякому подлинному интеллекту» [9].

Традиция как наивысший принцип развития охватывает все сферы общественного бытия, регулируя деятельность общественных институтов, стабилизируя социальную систему и создавая для происходящих в обществе процессов ценностное основание. Необходимо отметить, что неоконсерваторы не отрицают прогресса, как такового, однако, оценивая внедрение инноваций во все сферы общественного бытия как выражение социальной динамики, они акцентируют внимание на необходимости легитимации этих процессов с помощью определенного аксиологического контекста, в который они помещаются. Подобное выделение динамического и статического аспектов общественного бытия характерно для неоконсервативной модели и наиболее ярко проявляется в интерпретации феномена власти. Разделенная на светскую и духовную, власть выражается дуализмом деятельности государства и церкви. На современном этапе данные институты выполняют различные функции, обладают различным характером и, соответственно, имеют различные сферы влияния. Рассуждая о светской власти, представители «консервативной революции» обращают внимание на ее деятельностный, активный, мобилизующий характер. Именно благодаря подобным характеристикам светская власть получает необходимую компетенцию для управления праксиологическими сторонами социального бытия.

В свою очередь, духовная власть основана, прежде всего, на хранении вечной, непреходящей истины и традиции. Трансцендентное знание, лежащее в основе духовного владычества, проникает во все сферы общества, именно поэтому духовная власть оказывает влияние на все сферы жизни социума, уделяя особое внимание духовным ее аспектам. Сама же духовная власть имеет константный, неизменный характер и служит стабилизатором общества, выполняя в нем консолиди-

рующую функцию. При этом она же легитимизирует власть светскую. Истинное знание, или мудрость, носит сакральный характер и никак не связано с теми или иными формами его актуализации. Религиозные доктрины, как наиболее адекватная форма выражения неизменных ценностей, не подлежат пересмотру либо коррекции. Социальная динамика может оказать влияние лишь на форму их реализации, но не на их сущностные характеристики. В противном случае ценностные установки вовлекаются в перманентный процесс трансформаций и не могут более служить стабильной основой для общественной динамики. Представители «консервативной революции» стремятся вернуть аксиологическим основаниям социального бытия первостепенный статус по сравнению с праксеологическими, то есть радикально пересмотреть то соотношение ценностного и утилитарного подходов к социальной динамике, которое сложилось под влиянием идей Реформации и Великой французской революции. Именно в подобном глобальном изменении мировоззренческой парадигмы неоконсерваторы видят наиболее оптимальный путь решения глобальных проблем современности, позволяющий получить устойчивую позитивную динамику.

Таким образом, развитие социальной системы основывается на диалектической зависимости и взаимодействии ценностного и праксеологического аспектов. Вопрос о месте и роли каждого из этих элементов приобрел особую актуальность в период глобальных социальных трансформаций, приведших к становлению общества нового, буржуазного типа. В тот же период различные варианты решения данной проблемы получили свое концептуальное обоснование в двух ведущих идеологических концепциях, зародившихся в конце XVIII – начале XIX вв.: либеральной и консервативной.

В либеральной идеологии дуализму традиции и инновации был придан характер оппозиции. Традиция воспринималась как нечто, препятствующее прогрессу, ее роль как определенной аксиологической системы, и как механизма трансляции ценностных установок сводилась к минимуму. В дальнейшем либеральные ценности трансформировались в направлении еще большей рационализации, лишаясь того идеалистического характера, который был им присущ на начальном этапе становления либеральной теории.

Консерватизм, в свою очередь, избрал своим методологическим основанием именно традицию как «особый тип отношения между последовательными стадиями развивающейся социальной системы, при котором на новом уровне бытия

этой системы стереотипно и инвариантно воспроизводятся структурные и функциональные характеристики ее предшествующего уровня» [1, с. 145], придавая особое значение как ее содержанию, так и механизмам трансляции аксиологической базы. Подобное отношение, сформированное в противовес рационализму эпохи Просвещения, впоследствии трансформировалось в новый аспект понимания феномена традиции: она сама по себе стала пониматься как ценность, причем как ценность основная, как трансцендентный принцип всякого бытия, в котором бытие и развитие только и возможны. Фактически Традиция занимает в неоконсервативном учении то место, которое в классическом консерватизме занимала Божественная воля. Основным качеством Традиции в неоконсервативной интерпретации является ее принципиальная внеисторичность и неизменность, и потому любые инновации должны, прежде всего, согласовываться с ней. При этом предельно широкое и абстрактное толкование Традиции, предложенное неоконсерваторами, в значительной степени затрудняло бы подобное согласование, даже если бы оно осуществлялось. В связи с этим неоконсервативными мыслителями было введено понятие «форм реализации» Традиционного духа, связанных чаще всего с различными религиозными практиками.

#### Список цитированных источников

1. *Зеленков, А. И.* Динамика биосферы и социокультурные традиции / А. И. Зеленков, П. А. Водопьянов. – Минск: Университетское, 1987. – 240 с.
2. *Дьюи, Дж.* Либерализм и социальные действия / Дж. Дьюи // Демократия и XX век: хрестоматия по курсу гражданского образования для педагогических университетов. – Н. Новгород, 1997. – С. 55–70.
3. *Мизес, Л.* Либерализм в классической традиции / Л. Мизес [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: <http://www.libertarium.ru/libertarium/9935>. – Дата доступа: 20.02.2009.
4. *Валлерстайн, И.* После либерализма / И. Валлерстайн. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 256 с.
5. *Валлерстайн, И.* Конец знакомого мира / И. Валлерстайн. – М.: Логос, 2004. – 368 с.
6. *Хайек, Ф. фон.* Индивидуализм и экономический порядок / Ф. фон Хайек [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: <http://www.libertarium.ru/libertarium/9939>. – Дата доступа: 20.02.2009.
7. *Эллюль, Ж.* Политическая иллюзия / Ж. Эллюль. – М.: NOTA BENE Media Trade Co., 2003. – 432 с.
8. *Эвола, Ю.* Люди и руины / Ю. Эвола. – М.: Библиотечка профи, 2002. – 288 с.
9. *Генон, Р.* Кризис современного мира / Р. Генон [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: <http://www.libertarium.ru/libertarium/9936>. – Дата доступа: 20.02.2009.

Дата поступления в редакцию: 26.06.2009 г.



УДК 316.42 (476)

## Информатизация, политика и социальная стабильность

**М. Н. Мазаник**, кандидат социологических наук, доцент

*Рассматриваются проблемы обеспечения социальной стабильности общества в контексте процесса информатизации. Анализируются основные позитивные и негативные последствия информатизации. Представлены возможные варианты воздействия политических факторов на социальную стабильность современного белорусского общества.*

## Informatization, Policy and Social Stability

**M. Mazanik**, PhD in Sociology, Associate Professor

*The problems of providing of social stability of society in the context of process of informatization examined. The basic positive and negative consequences of informatization are analyzed. Possible variants of influence of political factors on social stability of modern Byelorussian society are presented.*

Факт перехода современных обществ к характеру общества информационного давно стал стандартным аргументом в анализе различных проблем. Однако работы многочисленных теоретиков информационного общества зачастую склоняются к описанию апологетическому, акцентирующему позитивные черты техногенного (и в первую очередь информационно-компьютерного) развития. Значительно меньше внимания уделяется «побочным» и неоднозначным его аспектам в социальной, экономической, политической сферах. Одним из таких эффектов становится проблема обеспечения социальной стабильности. Специфика существования государств, не вписанных в «золотой миллиард», наглядно демонстрирует неоднозначность информационных факторов социальной стабильности: конфликтность локальных и глобалистских ценностей, неравномерность доступа к информации, манипулятивность применяемых информационных технологий, что отмечают и сами теоретики постиндустриального и информационного обществ [1].

В частности, нельзя не отметить корреляционные связи, взаимодействие и взаимовлияние таких элементов общественного мира, как политика, информационно-коммуникационные процессы и социальная стабильность. Трансформационные процессы, возникающие в результате информационного насыщения социума, связаны, прежде всего, с наличием в современных обществах нового ресурса. А именно — используя терминологию М. Кастельса, его можно назвать «информациональным». Коммуникационно-информационное измерение социальной сферы превращается из частного аспекта функционирования общества в его фундаментальную основу.

Говоря о социальной стабильности, необходимо учитывать неоднозначность влияния на нее коммуникативных «переменных». Социальная стабильность на личностно-индивидуальном, социально-психологическом, макросоциальном и социетальном уровнях представляет собой сплав неравнозначных структур и факторов. Политическое развитие в этом отношении является процессом многомерным, завязанным не на однозначное доминирование какой-либо из сторон политического процесса, но прежде всего на выработку единого вектора из слагаемых «воздействий внешней среды», «воздействий внутренней среды» и «системных императивов».

С одной стороны, на уровне повседневности социальная стабильность предполагает не просто «общественный договор», но и самоидентификацию с социумом, и удовлетворенность причастностью к нему, и определенные «психокоды» межличностных отношений. С другой стороны, нестыковки «межличностной» социальной стабильности на микроуровне с запросами социальной системы, которые не зависят от отдельных личностей, — и, прежде всего, в политической сфере, — могут быть интерпретированы как создание функциональной системы из нефункциональных элементов за счет «взаимокомпенсации» разброса в их характеристиках. Процессы информатизации являются демонстрацией неравновесности, «динамического хаоса», способного превращаться в разнообразные конструкции. Разнородные сценарии развития, к которым может привести информатизация, теснейшим образом соотносятся с возможностями обеспечения социальной стабильности.

Концепты «глобальной деревни», «экоразумной цивилизации», «умной толпы» и т. д. указывают не

только на возникновение новых и обновленных социальных форм, но и в неявном виде создают образ такого развития как нормативного, единственно возможного. Несомненно, концепция информационного общества обладает значительным потенциалом в плане разработки перспектив становления социальной стабильности. Развитие информационных и коммуникационных технологий способствуют формированию мощной, динамичной и развернутой системы социальных связей и отношений. Становятся потенциально возможными прозрачность принятия социально значимых решений, реализация свободного доступа к участию в них. Тем самым общество значительно повышает свой уровень адаптивности, способности реагировать на вызовы внешней и внутренней среды, самоидентификации.

Однако реальная практика показывает искажения, продуцируемые процессами информатизации. Одним из характерных подобных последствий является то, что можно назвать «демонизмом информации»: информационные технологии в настоящее время стали настолько определяющими общий облик мира и быстрорастущими, что с трудом поддаются контролю. Одним из последствий такого характера социальных трансформаций становится изменение характера манипулятивных воздействий на массовое сознание: их возможности многократно выше, чем в обществе «доинформационизирующемся». Существуют также и спонтанные, «самосушие» эффекты, предсказанные М. Маклюэном: средства коммуникации вытесняют ее содержание [2].

Специфические черты нового общества, рассматривавшиеся теоретиками постиндустриального и информационного общества как возможность, ныне проявлены в полной мере. В то же время — это особенно заметно на примере постсоветского пространства — возникает своего рода «футурошок», конфликт между реально функционирующим общественным сознанием и новой конфигурацией социального поля. Так, многие ценности, нормы, стереотипы, присущие жителям Республики Беларусь, входят в противоречие с «имплозией» «прекрасного нового мира». В то же время П. Штомпка указывал на запаздывание в динамичном мире официальных законов и предписаний относительно изменения интересов, потребностей и ценностей населения [3, с. 316]. Размывание устойчивости менталитета населения становится значимой социальной проблемой. Возникает вопрос: как может сочетаться сумма социальных трансформаций с контролем над их характером. Э. Гидденс, говоря о ситуации в современных обществах, указывал на ее амбива-

лентность: «Риск — это динамичная мобилизующая сила в обществе, стремящемся к переменам, желающем самостоятельно определять свое будущее, а не оставлять его во власти религии, традиций или капризов природы» [4, с. 40]. Наличие рисков неизбежно для современного мира. В данном контексте необходимо обратить внимание именно на политическую возможность контроля деструктивных информационно-коммуникационных воздействий.

Рассматривая политическое развитие в контексте формирования социальной стабильности, необходимо сопоставить трансформации политических отношений в обществе с тем, как взаимодействуют общественные акторы, прямо либо косвенно влияющие на структуру властеотношений. Для современных обществ в этом плане характерны не столько «классические» формы властеотношений (названные М. Вебером традиционными, харизматическими и легальными), но их гибридизация и в значительной степени — их переход в новое качество. Это новое качество может быть оценено как коммуникативная перспектива власти. Очевидным фактом является сочетание и комбинирование явных форм власти со скрытыми, «незаметными». Так, харизматическая власть становится продуктом имиджмейкерства, легальная — политической рекламы, традиционная — пропаганды, а вложенные Вебером в эти названия смыслы явным образом опустошены (разумеется, это наблюдение не претендует на репрезентативность). Власть превращается из явной власти-насилия даже не во «власть-знание» как самодрессуру самого-над-собой индивида в индустриальном обществе, а во власть «реальной виртуальности». Сконструированные средствами массовой коммуникации образы, мифы, «возможные миры» провоцируют реакции индивидов, востребованные обществом постиндустриализации. В современном мире «просвечивают» модели социального существования, которые по исторически кратким меркам ранее были невозможны даже потенциально: в качестве примеров можно привести тотальность коммуникации и открытость знаниевых ресурсов, возникновение феномена «умной толпы» и т. п.

Как результат, возникает риск формирования аномического социального пространства. Социально стабильное общество всегда характеризуется определенным уровнем нормативности — наличия юридических, ценностных, нормативных рамок действия, сформированностью определенного типа менталитета, обеспечивающего «взаимозаменяемость перспектив» социальных субъектов. Тем самым социальная стабильность

может быть рассмотрена как функция от «коммуникативной рациональности», присущей социальным акторам, от их способности к конструктивной коммуникации и совместной деятельности. Современные средства коммуникации потенциально дают возможность рационального координирования интеллектуальных, эмоциональных и поведенческих проявлений больших масс при сохранении индивидуального (упомянутый выше феномен «умной толпы»). Однако практика показывает, насколько амбивалентны эффекты коммуникационного воздействия, как формируемые целенаправленно, так и возникающие непредвиденно.

Так, характерным примером становится практика использования на постсоветском пространстве «грязных» политических технологий. Сочетание использования разного рода аргументаций деструктивного плана (шантажа, компромата и т. п.) и техник манипуляции общественным сознанием (разного рода модифицирование информации: прямая дезинформация, манипулирование информационными потоками, конструирование мифов и т. п.) в конечном итоге приводят к размытости и фрагментарности политического сознания потребителей подобной информации.

Необходимо отметить опосредованное влияние информационно-коммуникационной составляющей и на другие, помимо социальных и социально-психологических, факторы социальной стабильности. К ним относятся экономическая, духовная и экологическая сферы. Необходимость сочетания разноплановых составляющих устойчивого развития предполагает задействование политического ресурса для реализации конструктивного, интеллектуально-инновационного характера такого развития.

Обратимся к возможным сценариям влияния политических факторов на обеспечение устойчивого развития и социальной стабильности в контексте процессов информатизации. Прежде всего, описывая процессы информатизации как составляющую формирования радикально нового типа социального устройства, необходимо зафиксировать параметры его «управляемости», возможности контролировать социальные риски в основных социальных сферах. Амбивалентность информационных инноваций обязывает выработать программы регулятивного (прежде всего – политического) воздействия. Устойчивое развитие Республики Беларусь предполагает гибкое отслеживание траектории социальных изменений и реагирования на них. В качестве исходной точки выработки общего контура возможных сценариев и стратегий управления трансформационными процессами

в контексте информатизации проанализируем ее основные характеристики и риски.

1. В социально-экономической сфере происходит смещение от индустриального типа производства и потребления к информационному. В данном плане повышается уровень и объем высокотехнологичных моделей социально-экономического существования по сравнению с объемами промышленного производства. Смещение вектора развития с промышленности, материальных ценностей на широко понятую сферу «знаний», сферу услуг меняет структуру занятости населения в направлении преобладания «белых воротничков». В качестве позитивного сценария развития может быть реализован контролируемый и управляемый переход к информационно-постиндустриальному типу общества. Коррелятами такого перехода станут: в экономической сфере – формирование высокоэффективной, основанной на современных принципах, социально ориентированной экономики; в экологической сфере – преодоление негативных последствий техногенного развития. Но «современная эпоха характеризуется определенным парадоксом, заключающемся в том, что чем выше уровень научно-технического прогресса, тем более уязвимым и менее устойчивым становится современный мир» [5, с. 85]. Основные риски данной стороны информатизации связаны с переходом к «догоняющей» версии развития и с возможной утратой контроля над процессом информатизации в перспективе глобализации. Оба эти риска должны учитываться как возможные факторы дестабилизации социально-экономической ситуации в стране, прежде всего, в силу возрастания вероятности воздействия «внешних» факторов на социально-экономическую и социально-политическую ситуацию. Эрозия национально ориентированных культурных форм под воздействием принципов глобальной монокультуры способна привести к невозможности координирования деятельности программ социальных субъектов. Изменение структуры занятости способно привести к дисфункциональным эффектам в социально-экономической сфере (неоправданный дисбаланс сферы «знаний и услуг» и сферы производства, в том числе, в плане получаемых работниками материальных благ). Ориентация на «догоняющее» развитие приводит к затратному и малоэффективному характеру достигаемых трансформаций, когда частные достижения либо заимствования не выводят на качественно новый уровень.

«Внешние» факторы, потенциально неблагоприятные для обеспечения социально-экономической стабильности, связаны со спецификой глобализованной, информатизированной эко-

номики. Современная мировая экономическая ситуация явно демонстрирует возможность не-санкционированного вторжения в национальные экономики и нарушения их стабильности. Виртуализованные и происходящие в реальном времени события мирового масштаба, в силу своего «импловзивного», практически внепространственного характера, способны нарушать социальную стабильность страны, если регулятивные меры имеют запаздывающий, а не опережающе-профилактический характер.

Роль политических факторов в обеспечении социальной стабильности и элиминировании данных социальных рисков состоит, прежде всего, в обеспечении развития инновационно ориентированных, интеллектуальных подходов к информатизации, ориентированных на «опережающую информатизацию» и направленных на повышение конкурентоспособности национальной экономики.

2. В социальном и социально-психологическом отношении информатизация предоставляет расширение и стимулирование творческих и духовных возможностей человека, развитие индивидуальности и человеческого потенциала в целом. Возможность доступа к культурным ценностям, к образовательным возможностям, рост гибкости и адаптивности мышления повышают общий уровень перспектив развития страны. «В пределе» данные тенденции обеспечивают социальную стабильность в силу создания и обеспечения широких возможностей достижения полноценного соответствия человеческого потенциала мировому уровню. Фактически повышается способность общества к самовоспроизводству благодаря установлению систем социальных связей и отношений в более широких контекстах групповой идентичности. К социальным рискам, негативно влияющим на обеспечение социальной стабильности и устойчивого развития, в этом аспекте относятся возможности культурной травмы, или футурошока (неспособности определенных категорий населения включиться в новый социальный контекст или отсутствие доступа к нему). Другим возможным социальным риском является распространение в современных коммуникационных сетях ин-

формации деструктивного плана, противоречащей морально-этическим нормам национальной культуры. Политическими факторами, способными снять данные риски, становятся социальная политика в сферах образования и культуры, а также адекватное законодательное регулирование пользования информационными технологиями и коммуникационными сетями.

3. В сфере власти, властеотношений и политики вероятными позитивными последствиями становятся расширение доступа к соответствующей информации, смещение системы властеотношений к интересам гражданского общества, обеспечение реальной демократии участия.

Таким образом, реализация идей информационного развития как устойчивого и обеспечивающего социальную стабильность должна опираться не только на принцип самоценности информационно-технологического прогресса, но и на учет вероятных дестабилизирующих эффектов. К подобным эффектам относятся, прежде всего, возможность манипулятивных воздействий на население со стороны заинтересованных групп и «внешней среды», минующих процедуры информационной фильтрации и дезориентирующих аудиторию. В качестве механизмов противодействия необходимо использование законодательных мер и альтернативных информационных воздействий.

#### Список цитированных источников

1. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. В. Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999.
2. Маклюэн, М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн – М.: Жуковский: Канон-пресс-Ц: Кучково поле, 2003.
3. Штомпка, П. Социология социальных изменений / П. Штомпка. – М.: Аспект Пресс, 1996.
4. Гидденс, Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь / Э. Гидденс. – М.: Весь мир, 2004.
5. Пушкин, А. Л. Устойчивое развитие страны и социально-техногенные риски современной цивилизации / А. Л. Пушкин // Взаимодействие устойчивости и инновационности в развитии белорусского общества: сб. науч. тр. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т социологии; редкол.: Е. М. Бабосов (науч. ред.) [и др.]. – Минск: Белорус. наука, 2009.

*Дата поступления в редакцию: 24.09.2009 г.*

# ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

- *Модели историко-философской темпоральности Г. В. Ф. Гегеля и Ж. Делёза: сравнительный анализ*
- *Аналитическая философия: проблема определения и специфика историко-философской реконструкции*
- *Методология Тартуско-Московской семиотической школы и проблема идеологического анализа текста*

---

УДК 1(091)

## Модели историко-философской темпоральности Г. В. Ф. Гегеля и Ж. Делёза: сравнительный анализ

**М. В. Тарасюк**, аспирант\*

*В статье осуществлен сравнительный анализ базовых моделей историко-философской темпоральности, представленных в работах Г. В. Ф. Гегеля и Ж. Делёза.*

## G. W. F. Hegel's and G. Deleuze's models of temporality of the history of philosophy: comparative analysis

**M. Tarasiuk**, Postgraduate Student

*Comparative analysis of basic models of temporality in the G. Deleuze and G. W. F. Hegel's conceptions of history of philosophy is made in the article.*

В контексте типологизации и сравнительного изучения различных историко-философских концепций одним из наиболее проблемных аспектов является представление о специфической историко-философской темпоральности. Данное представление характерно прежде всего для тех историков философии, которые не принимают в качестве истины тезис о «надстроечном», вторичном по отношению к политическим и экономическим процессам статусе философского знания. С этой точки зрения, философии присуща собственная, обладающая рядом специфических особенностей, история. История философской мысли в данном случае рассматривается как автономный, самодостаточный «мир мысли», реальность, темпоральная организация которой не идентична временным структурам, свойственным материальной действительности.

Целью данной работы является анализ представлений о специфической историко-философской темпоральности, наиболее отчетливо артикулированных в работах Г. В. Ф. Гегеля и его современного оппонента Ж. Делёза. Именно наличие глубокой философской проработки понятия времени в кон-

тексте конструирования собственных историко-философских моделей выделяет гегелевскую и делёзовскую концепции на фоне множества других.

Согласно Гегелю, как раз «метафизику времени» затрагивает центральный вопрос о сущностно временном и историчном характере философии. В соответствии с диалектическим порядком развития самой идеи, в рамках которого устанавливается определенная последовательность в развитии ее определений, этот логический процесс может быть непосредственно перенесен в сферу исторического развития мысли: «Последовательность систем философии в истории та же самая, что и последовательность в выведении логических определений идеи» [1, с. 92]. Таким образом, логическая модель становится основой хронологической историко-философской модели. Указанный перенос наделяет хронологическую последовательность философских систем рядом специфических особенностей. Во-первых, последовательный ряд философских формаций исключает какие бы то ни было расхождения в пользу возможного образования плюралистичной картины: «Во все времена существовала только одна философия, одновременные расхождения которой составляют необходимые стороны единого принципа» [2, с. 571]. «Необходимые стороны», о которых говорит Ге-

---

\* Научный руководитель — доктор философских наук, профессор Т. Г. Румянцева.

Гегель, есть не что иное, как логически противопоставленные тезисы, образующие движущую силу гегелевской диалектики. Плюралистическая картина в истории философии способна сформироваться благодаря представлению о различиях, несводимых к логическому противоречию. Однако Гегель настоятельно требует именно такого сведения: «Лишь доведенные до крайней степени противоречия, многообразные моменты... приобретают в нем ту отрицательность, которая есть имманентная пульсация самодвижения и жизненности... При более тщательном различении реальности различие ее превращается из разности в противоположность и тем самым в противоречие» [3, с. 68–69]. Во-вторых, последовательное выведение логических ступеней идеи, перенесенное в сферу истории философии, требует исключения возможности случайного возникновения философских построений — они должны быть необходимо обусловленными всем предыдущим развитием мысли: «От случайности мы должны отказаться при вступлении в область философии» [1, с. 98].

Таким образом, историко-философская темпоральность целиком обусловлена представлением о едином поступательном движении, присущем внутренней динамике идеи-в-себе как вневременной инстанции. Отдельные философские построения, по Гегелю, оказываются также причастными этой вневременности, т. е. вечности, однако это возможно для них лишь в качестве фрагментов историко-философского процесса — в притязаниях на самодостаточность им должно быть отказано: «Опровергнут не принцип данной философии, а опровергнуто лишь предположение, что данный принцип есть окончательное и абсолютное определение» [1, с. 98]. Каковы же главные свойства, которые приобретает само время в результате вышеуказанной логико-исторической аналогии?

Во-первых, согласно гегелевскому положению о едином процессе развития философской мысли, в котором «развитие духа состоит... в том, что его выход из себя и самораскрытие есть вместе с тем его возврат к себе» [1, с. 87], сам этот процесс является тотальным единичным циклом. Во-вторых, так как этот единый цикл состоит из многократных процедур становления отдельных философских систем, в каждой из которых идея обретает различные определения себя и каждый раз «становится тем, что она есть» [1, с. 85], каждая составляющая указанной целокупности также принимает форму единичного цикла. В результате, согласно Гегелю, полную схему, изображающую структуру историко-философской темпоральности, «мы должны представлять себе не как прямую линию, тянущуюся в абстрактное бесконечное, а как возвращающийся в себя круг, который имеет

своей периферией значительное количество кругов, совокупность которых составляет большой, возвращающийся в себя ряд процессов развития» [1, с. 90]. Единый круг развития всей философии обладает фиксированной центрированностью — этим центром становится сама идея, понимаемая в качестве неизменной и вечной инстанции, порождающей свое собственное внешнее, исторически темпоральное становление: «Идея есть центр, который вместе с тем является и периферией; она есть источник света, который как бы он не распространялся, все же не выходит за свои пределы, а остается наличным и имманентным внутри себя» [1, с. 91]. О составляющих такую периферию философских системах Гегель также высказывается метафорически: «Все эти особые части суть лишь зеркала и отображения этой единой жизни» [1, с. 91].

Циклическая модель, которая соответствует исторической темпоральности в философии, отличается от той цикличности, которую мы находим в природе — согласно Гегелю, природные циклы представляют из себя бесконечное неизменное повторение того же самого: «Природа существует так, как она существует; ее изменения суть поэтому лишь повторения, ее движение — лишь круговорот» [1, с. 94]. История философии же ограничена во времени — она имеет как единственный момент своего возникновения, так и «абсолютный конечный пункт» [1, с. 96]. Дойдя до этой стадии, мировой дух окончательно познает самого себя, и в нем «начало и конец совпадают» [1, с. 87]. История философии, по мысли Гегеля, принципиально эсхатологична, она включает в себя идею конца философии как обязательную составляющую. Конечный пункт в развитии философии подразумевает появление системы, которая, будучи результатом всей истории мысли, впервые получает статус универсального компендиума фундаментальных знаний. Этот финальный свод философских наук подразумевает также специфическую педагогическую практику, в рамках которой возможно лишь изучение содержания такой философской энциклопедии. Сама гегелевская система философии притязала на статус такого завершающего историко-философский процесс построения.

Ключевым моментом для понимания концепции времени в философии Делёза является принцип, согласно которому специфическая темпоральность, присущая становлению мысли, перестает быть зависимой от движения, — будь то движение физических тел, или, как это имело место в гегелевской историко-философской модели, движение логических категорий в их диалектическом развитии. Для Гегеля была весьма важной демонстрация механизма природных циклических

процессов в качестве примеров для объяснения процессов исторической динамики в философии. Делёз считает эту аналогию неприемлемой — по его мнению, уже Кант осуществил радикальный переворот в понимании отношения времени и движения: «Движение подчиняется времени. Уже не время соотносится с движением, которое оно измеряет, но движение — со временем, которое его обуславливает» [4, с. 44]. Моделью времени, которая адекватно отображала бы специфику процессов становления, перестает быть гегелевская циклическая модель, во многом перенятая у античных авторов: «Время меняет свою природу, оно перестает быть циклическим. Прежде время подчинялось движению, которое представляло собой огромное периодическое движение небесных тел, т. е. было циклическим. Напротив, когда время освобождается от движения, и движение зависит от времени, тогда время становится прямой линией» [5, с. 40]. Однако прямолинейная форма времени, согласно Делёзу, не является последовательностью, рядом сменяющих друг друга настоящих, однонаправленным чередованием фиксированных точек, составляющих эту линию в порядке причинно-следственных связей. Эта модель времени представляла бы собой, в таком случае, лишь «выпрямление» гегельянской циклическости с сохранением всех свойственных ей принципов. Первым из таких принципов является определение времени как последовательности, определение, которому Делёз противопоставляет принцип синхронного, одновременного становления. Применительно к описанию историко-философской процессуальности это означает кардинальную перемену способа ее трактовки — об истории философии становится невозможно рассуждать ни как о логически выверенной последовательности систем, ни как о простой хронографии чередующихся мнений. Делёз предлагает плюралистичную схему, в которой философские построения сосуществуют во времени, что означает прежде всего неисторичность самой философии: «Философия — это становление, а не история, сосуществование планов, а не последовательность систем» [6, с. 78]. Утверждение того, что опровергалось Гегелем в его истории философии, а именно самодостаточного статуса каждой системы философии, служит для реабилитации принципа различия, сведенного Гегелем до противоречия, выполнявшего сугубо функциональную роль в фиксации мысли всякого философа в качестве фрагмента единого исторического мышления. Особого рода время, содержащее множество различных философских построений, объединяет это множество в одно «бесконечное становление философии»: «Философское время — это время всеобщего сосуществования» [6, с. 77].

Вторым принципом, присущим гегельянской истории философии, который опровергается делёзовской концепцией «философского времени», является требование закономерного, исключаящего какую-либо случайность, последовательного выведения принципов одной системы философии из принципов предшествующих систем. Именно случайностью определяется любая инновация в философии, согласно Делёзу: «Принцип причинности, каким он предстает в философии, — это принцип случайной причинности» [6, с. 121]. В том числе и само возникновение такого явления, как философское мышление, невозможно обосновать как исторически закономерное: «Появление философии в Греции — результат скорее случайности, чем закономерности» [6, с. 125]. Абсолютизация случайного является основанием для предлагаемой Делёзом модели «идеальной игры», становящейся таковой благодаря исключению из нее всего того, что может так или иначе упорядочить случай: предзаданного набора правил, обладающих нормативной функцией, возможности гипотетического распределения шансов и бинарного разделения результатов (победа и поражение). Такая игра, являющаяся, согласно Делёзу, «реальностью самой мысли» [7, с. 89], не основана на заранее установленных правилах, поскольку каждое действие в ней изобретает и применяет свои собственные правила и обходится без распределения возможностей, так как «совокупность бросков утверждает случай и бесконечно разветвляет его с каждым новым броском» [7, с. 88]. Уподобленным Делёзом броскам игральной кости актом мышления соответствует особый вид темпоральности — Эон, представляющий собой описанное выше линейное, но вместе с тем, по выражению Делёза, «нехронологическое время».

Таким образом, необходимо различать два вида времени — Эон и Хронос, разделение, почерпнутое Делёзом в стоической традиции: «Величие мысли стоиков в том, что они показали одновременно как необходимость таких двух прочтений, так и их взаимоисключаемость» [7, с. 91]. Под Хроносом понимается время настоящего, относящееся к физическим процессам: «Всегда ограниченное настоящее, измеряющее действие тел как причин и состояние их глубинных смесей» [7, с. 91]. Другое свойство Хроноса — включение в ограниченное настоящее бесконечного посредством циклического повторения: «Время настоящего — всегда ограниченное, но бесконечное — бесконечное потому, что оно циклично, потому, что оживляет физическое вечное возвращение, как возвращение Того же Самого и этическую вечную мудрость как мудрость Причины» [7, с. 91]. Прошлое и будущее, по словам Делёза, в Хроносе оказываются включенными в циклические настоящие, сменяющие друг дру-

га — настоящее «впитывает в себя прошлое и будущее, сжимает их в себе и, двигаясь от сжатия к сжатию со все большей глубиной достигает пределов всего Универсума, становясь живым космическим настоящим» [7, с. 91].

Прошлое и будущее в Хроносе подчинены настоящему, которое может быть фиксировано не только как отдельный непродолжительный период, но также и в качестве более масштабных циклов, ограничивающих космическое целое: «Величайшее настоящее не безгранично. Оно присутствует в настоящем, полагая границы, ставя пределы бытия и размеря действия тел даже если перед нами величайшее из тел и единство всех причин (Космос)» [7, с. 217]. Таким образом, хронологическое время является временем причинно обусловленной актуальной реальности физических процессов. Именно эту модель Гегель экстраполировал, с рядом оговорок, на процессы становления философской мысли.

Согласно Делёзу, особым видом «нехронологического», философского времени является Эон — время становлений, несводимых к порядку ставшего, оформленного настоящим бытия. Эон — время, являющееся «реальностью самой мысли», отличен от Хроноса тем, что не состоит из ряда настоящих: «Согласно Эону только прошлое и будущее присутствуют или содержатся во времени» [7, с. 219]. Эти прошлое и будущее являются бесконечными и не замыкаются в цикл: «Эон — это вечная истина времени: чистая пустая форма времени, освободившееся от телесного содержания настоящее, развернувшее свой цикл в прямую линию и простершееся вдоль нее» [7, с. 220]. Прошлое и будущее в этом времени порождаются чистым событием, не воплощенным в положении вещей и потому не имеющим настоящего: событие «отступает и устремляется вперед в двух смыслах-направлениях сразу, являясь вечным объектом двойного вопрошания: что еще случится? что уже случилось?» [7, с. 93].

Событие Эона, согласно Делёзу, есть некая случайная точка, мысль как таковая, «чисто математический момент, бытие разума, выражающее прошлое и будущее, на которые оно разделено» [7, с. 92], т. е. в своем мгновенном становлении без настоящего оно обретает форму временной бесконечности: «Эон — прямая линия, прочерченная случайной точкой... Каждое событие адекватно всему Эону» [7, с. 94]. Поэтому такое событие невозможно выразить в форме только прошедшего или только будущего времени — оно «вечно Инфинитив, вечно нейтрально» [7, с. 92]. Более того, поэтому в Эоне, который является «бесконечно делимым» [7, с. 91] временем, событие по двум своим параметрам несопоставимо с настоящим хронологического времени: «Каждое событие в Эоне меньше наимельчайшего отрезка в Хроносе; но при

этом же оно больше самого большого делителя в Хроносе, а именно, полного цикла» [7, с. 94].

Множественные события, составляющие Эон, производят также множественные прошлое и будущее. Излагая этот аспект своей теории времени, Делёз предлагает не истолковывать эту множественность как совокупность возможных, но не невозможных миров в духе Лейбница, напротив «несовозможности принадлежат одному и тому же миру, а невозможные миры — одной и той же вселенной» [8, с. 439]. Это положение характеризует прямую линию Эона как составную, сложную структуру напластований времен каждого из событий, а сам Эон становится их единовременной целокупностью: «Каждое событие коммуницирует со всеми другими, и все вместе они формируют одно Событие — событие Эона, где они обладают вечной истиной. В этом тайна события: оно существует на линии Эона, но не заполняет ее» [7, с. 94]. Поэтому структура этого линейного времени интерпретируется Делёзом как лабиринтообразная: «Прямая линия как сила времени, как лабиринт времени, является также линией расходящейся, и расходящейся непрерывно» [8, с. 439].

Такому типу темпоральной организации соответствует также и определенная пространственная модель. Замкнутый, циклично организованный космос уступает место хаосу, в отношении которого задачей философии становится конструирование плана имманенции, способного очертить контуры мира бесконечных становлений: «План имманенции — это как бы срез хаоса, и действует он наподобие решета. Действительно, для хаоса характерно не столько отсутствие определенностей, сколько бесконечная скорость их возникновения и исчезновения; это не переход от одной определенности к другой, так как одна возникает уже исчезающей, а другая исчезает едва наметившись... Задача философии — приобрести consistency, при том не утратив бесконечности, в которую погружается мысль» [6, с. 57–58]. Создание плана имманенции как нового образа мысли предполагает фиксацию различий в качестве составляющих хаос определенностей, осуществляемую не через их сведение к порядку последовательности причинно-следственных связей, но производимую в их единовременной совокупности: «Философия исходит из учреждения плана имманенции — в его переменной кривизне и сохраняются те бесконечные движения, которые возвращаются обратно к себе в процессе постоянного взаимообмена, но одновременно и высвобождают другие сохраняющиеся движения» [6, с. 58]. Здесь обнаруживается финальная стадия трансформации модели темпоральности Делёза: если исходной процедурой этой трансформации было «выпрямление» времени —



освобождение его от цикличности, затем эта линия истолковывалась как сложно структурированный «лабиринт», моделирующий хаос как стихию чистого мышления в его целостности, после чего следовало «оформление» хаоса, осуществляемое планом имманенции, то вышеприведенная цитата указывает на новый тип цикличности внутри получившего свою определенность хаотического времени.

Эта новая цикличность есть не что иное, как возрождаемая Делёзом ницшеанская концепция «вечного возвращения». В делёзовской интерпретации эта концепция принадлежит исключительно самому Ницше, так как повторение в вечном возвращении не есть цикл в понимании Гераклита или Гегеля: «Почему Ницше, знаток греков, знает, что вечное возвращение – его изобретение, несвоевременная вера или вера будущего? Потому что „его“ вечное возвращение – вовсе не возвращение одинакового, подобного или равного» [9, с. 295]. Гегелевская цикличность есть именно такое повторение того же самого: «Круг Гегеля – не вечное возвращение, а лишь бесконечная циркуляция тождества в негативности» [9, с. 71]. Самоидентификационная истина, как фиксированный центр такого круга, определяет характер всего циклического процесса в модели историко-философской темпоральности Гегеля. Но, согласно Делёзу, гегелевский принцип моноцентризма диалектического круга сменяется на фундирование различия в качестве основания циклов вечного возвращения: «Если вечное возвращение – круг, то в его центре – Различие, а Одинаковое – только по окружности; это круг с постоянно смещающимся центром, постоянно изгибающийся, вращающийся только вокруг неравного» [9, с. 77]. Хаотичная динамика основания как множественного смыслополагания трансформирует и саму форму круга вечного возвращения: «Вечное возвращение соотносится с миром различий, включенных друг в друга, со сложным, лишенным идентичности, доподлинно хаотичным миром. Круг вечного возвращения, различия и повторения (разрушающий круг тождественного и противоречивого) – неровный круг, называющий одинаковым лишь то, что отличается» [9, с. 79–80].

В свете изложенной здесь концепции времени становится более явной сама позиция Делёза – историка философии. История философии не есть история в гегелевском смысле, она, согласно Делёзу, не есть обусловленная логически последовательность систем в порядке хронологического времени единого однонаправленного развития. Время философии не исторично, оно является временем сосуществования, а не последовательности. В этом отношении все мыслители, жившие когда-либо, являются несвоевременными по отношению к своим эпохам, вместе с тем являясь

современниками друг для друга. Каждый акт философствования повторяется мыслителями как неизменно идентичное усилие порождения мысли, оказывающееся всякий раз новым, отличным от остальных в своем результате.

История философии понимается Делёзом как творческая дисциплина, сходная с живописью: «История философии не является дисциплиной, основанной на какой-то особой рефлексии. Это, скорее, как искусство портрета в живописи. Это – портреты ментальные, концептуальные» [10, с. 177]. Однако здесь важное значение получает принцип повторения: «Корреляции самого верного и точного повторения – максимум различия» [9, с. 12]. Создавая портреты философов, историк философии должен добиваться результата, крайне отличного от изображаемого оригинала: «Следует, чтобы изложение истории философии действовало как подлинный двойник и включало присущее двойнику максимальное изменение» [9, с. 12]. Таким образом, понятийная связка различия и повторения призвана заменить репрезентативность истории философии Гегеля.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ позволяет утверждать, что как Гегель, так и Делёз в рамках своих теорий историко-философского процесса создают концепции специфической темпоральности, присущей процессу развития философской мысли. Однако если гегелевская структура времени является детерминированной логически – последовательностью систем, образующей полный цикл развития философии, то делёзовские темпоральные структуры не цикличны, не являются последовательностями, не зависимы от причинно-следственных связей, но представляют собой своего рода время сосуществования философских концепций.

#### Список цитированных источников

1. Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии / Г. В. Ф. Гегель. – СПб., 1993. – Т. 1.
2. Гегель, Г. В. Ф. Лекции по истории философии / Г. В. Ф. Гегель. – СПб., 1994. – Т. 3.
3. Гегель, Г. В. Ф. Наука логики / Г. В. Ф. Гегель. – М., 1971. – Т. 2.
4. Делёз, Ж. Критика и клиника / Ж. Делёз. – СПб., 2002.
5. Делёз, Ж. Алфавит Ж. Делёза. Беседа с Клер Парне / Ж. Делёз. – Минск, 2001.
6. Делёз, Ж., Что такое философия? / Ж. Делёз, Ф. Гваттари. – СПб., 1998.
7. Делёз, Ж. Логика смысла / Ж. Делёз. – М.; Екатеринбург, 1998.
8. Делёз, Ж. Кино / Ж. Делёз. – М., 2004. – 624 с.
9. Делёз, Ж. Различие и повторение / Ж. Делёз. – СПб., 1998.
10. Делёз, Ж. Переговоры / Ж. Делёз. – СПб., 2004.

Дата поступления в редакцию: 15.10.2009 г.

УДК 1(091)

## Аналитическая философия: проблема определения и специфика историко-философской реконструкции

**А. А. Шеститко**, аспирант\*

*В статье рассматривается проблема определения одного из ведущих направлений современной философии — аналитической философии, а также соотношение аналитической философии с понятиями «аналитическая традиция», «неопозитивизм», «философия языка».*

## Analytical Philosophy: The Problem of Definition and Historical Reconstruction

**A. Shestitko**, Postgraduate Student

*The article reconstructs the history of Analytical Philosophy from the point of critical investigation of its definition in relations with analytical tradition, neopositivism, philosophy of language.*

Стремление современного научного сообщества к активному освоению и использованию междисциплинарного подхода при решении тех или иных проблем и вопросов, с одной стороны, свидетельствует о перспективном взаимодействии и открытости различных дисциплин друг другу, но с другой стороны, нередко приводит к тотальной неопределенности используемых понятий и категорий. К примеру, такое распространенное сегодня не только в пределах научного сообщества, но и в повседневном дискурсе понятие анализа, помимо своих классических характеристик, обрастает множеством новых коннотаций. Ставшая популярной и престижной в современной социальной структуре профессия аналитика требует от своих носителей уже не столько способностей к разложению целого на отдельные части с целью их последовательного рассмотрения и прояснения смысла, сколько навыков менеджмента и способностей завуалировать тот или иной смысл настолько, насколько это может способствовать увеличению прибыли компании.

Смешение понятий, языковая путаница, размытость смысловых направляющих современного мировоззрения является уже не поводом для уныния и беспокойства современных мыслителей, но объективной реальностью, в которой все мы сегодня пребываем. Но, как правило, именно смысловая неопределенность становится основной причиной непонимания и конфликтов не только между отдельными индивидами, но и социальными группами и целыми сообществами,

усиливая конфронтацию и нестабильность современного мира.

Прояснение смысла с целью понимания и эффективной коммуникации между различными субъектами является важной задачей одного из ведущих направлений современной философской мысли — аналитической философии. На протяжении более чем вековой истории аналитическая философия испытала эволюцию не только предмета и методологических установок, но и содержания своего определения. К концу XX в. «аналитическая философия» стала отождествляться с такими направлениями, как англо-американская философия, лингвистическая философия, философия языка и др.

В настоящей статье мы обратимся к вопросу определения содержания понятия «аналитическая философия» с целью прояснить и задать некоторые интегративные направляющие дефиниции данного направления философской мысли, а также последовательно рассмотрим и проанализируем различные авторские подходы к истории аналитической философии в работах некоторых западных и отечественных мыслителей.

Одними из самых общих, но не уделяющих внимания критическому рассмотрению истории аналитической философии, являются определения, которые можно обнаружить в различных философских словарях и энциклопедиях. Приведем наиболее репрезентативные из них.

1. «Аналитическая философия — современное направление в философии, возникшее как продолжение английского неопозитивизма и получившее распространение в США и некоторых восточноевропейских странах, предметом исследова-

---

\* Научный руководитель — кандидат философских наук, доцент А. А. Легчилин.

ния которого являются не вещи, события или данности, но высказывания, принципы отдельных отраслей знания, а также понятия и аксиомы, которые через формально расширенную логику могут быть иначе интерпретированы» [1, с. 24–25].

2. «Аналитическая философия – широкое и довольно разнородное течение XX в., объединяющее различные группировки, направления и отдельных философов, которые усматривают задачу философии в анализе языка с целью прояснения содержания проблем, традиционно считавшихся философскими» [2, с. 19].

3. «Аналитическая философия – концепции анализа теоретического научного знания, которые признают существование специфических свойств системы теоретических знаний, рассматривают структуру знания как независимую от онтологических обстоятельств» [3, с. 26–27].

4. «Аналитическая философия – концепт, обозначающий направление современной философской мысли, развитое в первой половине XX в. на Западе и сводящее философию главным образом к языковому – логико-семантическим, логико-лингвистическим и другим подобным средствам познания как аналитической деятельности» [4, с. 13–14].

5. «Аналитическая философия – в узком смысле доминирующее направление в англо-американской философии XX в., прежде всего в послевоенный период. В широком плане – определенный стиль философского мышления, подразумевающий строгость и точность используемой терминологии наряду с осторожным отношением к широким философским обобщениям и спекулятивным рассуждениям» [5, с. 34].

Такое подробное цитирование обозначенных выше определений аналитической философии обусловлено тем, что наряду с постоянно переиздающимися исправленными и дополненными изданиями различных философских словарей и энциклопедий в отечественной, в частности в белорусской, философской традиции практически отсутствуют фундаментальные работы по истории аналитической философии. Более того, большинство из упомянутых выше определений грешат некоторыми смысловыми неточностями, на анализе которых следует остановиться.

В частности, приведенное третьим определением аналитической философии является весьма редуцированным в силу того, что подразумевает под данным направлением лишь концепции, связанные с «научной теорией», что, на сегодняшний день, противоречит структуре и содержанию проблемного поля аналитической философии, включающей не только отдельные направления фило-

софии науки, логики, но и философию языка, сознания, философию действия и морали.

Определение под номером четыре также, на наш взгляд, не раскрывает сущности аналитической философии и имеет ряд спорных моментов. В частности, утверждение о познании как аналитической деятельности, которое актуализирует сложную проблему взаимодействия аналитической философии и науки в XX в., а, точнее, фактическое сведение философии к научной деятельности. На сегодняшний день говорить о таком научном поглощении несколько неправомерно, учитывая тот факт, что практически все аналитические философы второй половины XX в. отстаивали автономность и несводимость аналитической деятельности к научной.

Наконец, последнее определение, приведенное под номером пять, фактически дублирует определение, предложенное российским исследователем, автором многочисленных переводов и критических работ по истории аналитической философии профессором А. Ф. Грязновым, в силу чего имеет смысл обратиться непосредственно к работам данного исследователя, выступающих, с нашей точки зрения, одним из лучших в русскоязычном философском пространстве вариантов классификации истории аналитической философии.

Во вступительной статье, предвещающей антологию аналитической философии, куда вошли переведенные статьи как «классиков» (Б. Рассела, Э. Мура), так и представителей так называемого новейшего этапа аналитической философии (М. Даммита, Д. Дэвидсона и др.), А. Ф. Грязнов фиксирует следующее понимание аналитической философии (АФ): «В узком смысле под АФ мы понимаем доминирующее направление в современной англоязычной философии. В широком смысле АФ – это определенный *стиль философского мышления*. Он характеризуется такими качествами, как *строгость, точность используемой терминологии, осторожное отношение к широким философским обобщениям, всевозможным абстракциям и спекулятивным рассуждениям*» [6, с. 5].

Таким образом, при выстраивании определенной историко-философской классификации различных направлений и концепций внутри аналитической философии мы сталкиваемся со следующей перспективой: либо объединить под названием «аналитическая философия» всех англоязычных философов (преимущественно в Великобритании и США), но наверняка найдутся те, кто не имеет никакого отношения к аналитической традиции (постмодернистские философы, к примеру); либо, исходя из предложенных харак-

теристик аналитического стиля мышления (строгости, ясности, осторожного обращения к выстраиванию универсалистских систем), начать историю аналитической философии с периода греческой классики (Платон, Аристотель). В последнем случае аналитическая философия рискует ассимилировать всю классическую философскую традицию, учитывая методологические предпочтения «классиков» в пользу строгих, тяготеющих к научным, методов. Данный вывод, однако, сам по себе является спорным и свидетельствует о сложности рассматриваемого вопроса: каким образом, исходя из исторического развития аналитической философии, возможно дать исчерпывающее определение данному направлению и определить место аналитической философии в системе современного гуманитарного и научного знания?

Следует начать с того, что термин «*аналитическая философия*» не тождественен столь часто употребляемому в качестве его синонима термину «*аналитическая традиция*». Определение аналитической традиции, на наш взгляд, скорее, совпадает с так называемым широким смыслом аналитической философии, обозначенным А. Ф. Грязновым, т. е. как особый стиль философского мышления, системообразующим элементом которого является логическая процедура анализа. При этом анализ понимается вполне «классически»: как понятийное разложение некоего целого на составные части с целью их более детального изучения.

Исходя из обозначенных выше характеристик, аналитическая традиция зарождается еще в Античности, с диалогов Платона, а затем проходит длительный путь развития от Аристотеля, через средневековых схоластов, Р. Декарта, Ф. Бэкона, Дж. Локка, Д. Беркли, Д. Юма — к И. Канту. На философских работах немецкого мыслителя классическая традиция аналитической мысли делает остановку, в силу того что следующая за И. Кантом философская система Г. В. Ф. Гегеля, несмотря на панлогизм, квалифицируется аналитическими философами, особенно первой трети XX в., как торжество универсализма, догматизма и запутывающего идеализма. Таким образом, именно «аналитическая философия в XX столетии, более чем любая другая традиция, наследует идеи и принципы классического философствования» [7, с. 18].

Учитывая центральное место анализа в методологической структуре аналитической традиции, А. Ф. Грязнов предлагает следующий вариант истории аналитической философии как истории понятия «анализ», изменения содержания которого обозначали и смену соответствующих этапов

развития аналитической философии [7, с. 20–23].

Первый этап связан с так называемым глубинным логическим анализом и отсылает к работам Г. Фреге и Б. Рассела, настаивавших на применении формально-логического метода, способного пролить свет на неясные и запутанные философские проблемы, вызванные смешением языка науки с языком общения. Ключевой характеристикой анализа здесь выступает его *глубина*.

Центральной фигурой второго этапа выступает Э. Мур, который, по сравнению с Фреге и Расселом, делает первые попытки реабилитации естественного языка, предлагая использовать концептуальный анализ, предполагающий переформулирование выражений с неясным смыслом в предложения естественного языка, смысл которых всегда прозрачен для использующих эти выражения людей. Главная характеристика анализа на данном этапе — *ясность*.

Третий этап развития аналитической философии как философии анализа связан с именем Л. Витгенштейна. В «Философских исследованиях» англо-австрийский философ предлагает оставить масштабный план выявления формального соответствия картины языка и мышления картине мира и обратиться к рассмотрению языка *in actu*. Такая задача требует и изменения методологической программы — анализ из исключительно формально-логического метода должен стать инструментом описания функционирования языка в деятельности людей. Главной чертой, определяющей содержание анализа, становится *употребление*.

Наконец, четвертый этап, выделяемый А. Ф. Грязновым, это возвращение метафизической проблематики в аналитическую философию. В работах П. Стросона деятельность философа-аналитика предполагает уже не столько анализ языковых выражений самих по себе, сколько самого отношения этих понятий к мышлению и миру как таковому. Процедура анализа, предлагаемая П. Стросоном, не просто проясняет отдельные выражения или выявляет истинностные значения, но направлена на исследование языка как такового, представляющего сложную разветвленную сеть взаимосвязанных элементов. Центральным понятием, связанным с анализом в данном случае, становится понятие *концептуальной схемы*.

Как отмечает украинский исследователь истории аналитической философии Я. В. Шрамко, вопрос о сущности и роли анализа в качестве базового элемента методологии аналитических исследований не является простым и проясненным [8, с. 165–188]. Особенно если принять во внимание активное использование данного термина и другими направлениями не только в филосо-

фии: например, системным анализом в теории систем или анализом дискурса в современной лингвистике, психоанализом, наконец. Такая ситуация инициирует постановку вопроса, в чем заключается специфика собственно аналитической трактовки понятия «анализ», что одновременно выступает и специфической характеристикой аналитической философии как самостоятельного направления философской мысли. По мнению Я. В. Шрамко, центральным признаком, отличающим процедуру анализа в аналитической традиции от лингвистики, психоанализа и различных научных направлений, является его *логическая основа*. Однако следует заметить, что на протяжении истории развития аналитической философии последовательно менялись и взгляды на сущность и содержание логического анализа. Так, например, в первой половине XX в. анализ предполагал использование исключительно формально-логического метода для выяснения смысла тех или иных высказываний.

Особую роль в данном случае сыграли работы Г. Фреге, в которых мыслитель обозначил несоответствие грамматической и логической структуры предложений, и, как следствие, невозможности постижения смысла на основе грамматики. Г. Фреге предложил различать категории *смысла* и *референции*, пояснив это на знаменитом примере с «вечерней и утренней звездой». Суть данного различия сводилась к тому, что данные выражения имеют один и тот же референт, т. е. объект действительности, к которому они отсылают (Венера), но обладают различным смыслом, посредством которого всякий объект и представлен в языке. Задача философа-аналитика, таким образом, сводится к выявлению смысла различных предложений путем их подробного логического анализа, позволяющего отделить грамматическую форму предложений от его логической структуры.

Необходимо отметить, что именно тип формально-логического анализа был доминирующим в методологии аналитической философии в первой трети XX в., на этапе, который многие исследователи именуют *неопозитивизмом*. Представители Венского кружка, вдохновленные работами Г. Фреге, Б. Рассела и в особенности «Логико-философским трактатом» Л. Витгенштейна, задачу философии видели не только в прояснении предложений языка, но, главным образом, в стремлении стать подлинно научной строгой дисциплиной. Главную роль в движении философии к науке и должен был сыграть доведенный до совершенства логический анализ, способный превратить любую языковую единицу в формальную структуру.

Однако с появлением «Философских исследований» Л. Витгенштейна, где сам мыслитель раскритиковал свои прежние позиции и обозначил новую функцию философии как языковой терапии, суть которой заключается не в приведении языковых выражений в строгую формальную структуру, но в прояснении их значения исходя из реального процесса функционирования языка в разнообразных языковых играх. Таким образом, анализ из исключительно формально-логического метода в середине XX в. начинает приобретать черты логико-лингвистического средства исследования языковых выражений, которое учитывает не только логическую структуру выражений, но и контекст их употребления, мотивы и коммуникативные особенности взаимодействующих субъектов. В этой связи отождествление аналитической философии исключительно с этапом неопозитивизма, на наш взгляд, не соответствует историческим реалиям. Неопозитивизм, основанный на рассмотренном выше методе формально-логического анализа, представляет собой лишь один из этапов развития аналитической философии и не поглощает собой все последующие версии аналитических исследований.

Еще одной важной связкой понятий, требующих анализа в контексте рассмотрения специфики истории развития аналитической философии, является соотношение определений «аналитическая философия», «лингвистическая философия» и «философия языка». Один из виднейших представителей аналитического направления, американский философ Дж. Р. Серль в одной из статей, посвященной философии языка, предлагает различать философию языка и лингвистическую философию, определяя довольно нетрадиционные характеристики данных подходов: «лингвистическая философия складывается из попыток решить философские проблемы путем анализа значений слов естественных языков и логических отношений между словами; философия языка складывается из попыток проанализировать самые общие языковые единицы и отношения, такие как значение, референция, истина, верификация, речевой акт или логическая необходимость» [9, с. 7–8].

Лингвистическая философия, таким образом, с точки зрения Дж. Р. Серля, становится методологическим средством философии языка и выполняет вспомогательную функцию, связанную с детальным анализом тех или иных языковых выражений, в то время как философия языка представляет самостоятельное направление философии и связано с определенными теоретическими, мировоззренческими и методологическими установками, важнейшей из которых выступает

приоритет и определяющее место языка по отношению к мышлению и к миру.

Данная теоретическая установка в своем абсолютном варианте была выражена в работе М. Дамита «Истоки аналитической философии». Стремясь обозначить отличительные характеристики аналитической философии, выделяющей ее среди других философских дисциплин и научных направлений, американский мыслитель обращает внимание на наличие так называемого ядра, или основного принципа аналитической философии, который сводится к трем положениям [10, с. 30–35]:

- объяснить мышление в философии можно только посредством обращения к языку;
- объяснение языка предшествует любому объяснению мышления;
- не существует иного пути, кроме анализа языка, позволяющего объяснить загадки нашего мышления.

При этом именно в философии языка, которая, по словам Дж. Р. Серля, становится во второй половине XX в. доминирующим направлением аналитической философии, происходит трансформация и объекта, и метода аналитического исследования, и отношения аналитической философии к другим философским направлениям. Так, например, естественный язык, служивший мишенью неопозитивистам, приобретает статус основного объекта изучения и понимается во всей его сложности, многообразии и невозможности уместения в непротиворечивую и однозначную смысловую структуру. Язык становится «языком в действии», используется в различных речевых ситуациях и меняет, таким образом, свой статус из *средства* выражения мыслей и познания мира на *основании* коммуникации.

Соответственно с объектом аналитического исследования изменяется и аналитический метод. Формально-логический анализ дополняется логико-лингвистическим, в котором определяющее значение имеют процедуры перевода и интерпретации (в частности, теория радикального перевода У. В. О. Куайна и теория радикальной интерпретации Д. Дэвидсона), открывая, таким образом, перспективы междисциплинарного взаимодействия аналитической философии с герменевтикой, теорией дискурса, психоаналитическими концепциями.

Практически одновременно с появлением аналитической философии появилась и критика данного направления со стороны представителей иных традиций. В первой половине XX в. представители Венского кружка и неопозитивизма ощутили на себе критическое отношение со стороны на-

следников идеалистических концепций, прежде всего неогегельянства, а со второй половины XX в. направление логико-лингвистического анализа становится мишенью для так называемых континентальных философов. Как отмечает отечественный исследователь истории аналитической философии С. В. Никоненко, «с континента аналитическая философия представляется часто как флегматичная, стерильная, педантичная, неспособная увидеть за деревьями леса» [11, с. 12–13].

Особое критическое и даже конфронтационное отношение к аналитической философии наблюдается со стороны представителей постмодернистской философии. Особенно данное противостояние было заметно в конце 80-х гг. XX в. в университетской среде различных американских колледжей, где, по словам А. Ф. Грязнова, конкуренция между филологами, увлеченными идеями постмодернизма (и особой популярностью деконструктивистской философии Ж. Деррида) и аналитиками часто приводила к весьма трагичным последствиям. Филологи требовали упразднить кафедры философии, отстаивающие принципы аналитической традиции, аналитики, в свою очередь, отвечали обвинением в псевдонаучности и логической несостоятельности поклонников постмодернизма [7, с. 9–15].

Сегодня представители аналитической философии уже не соотносятся только с англо-американской философией. Свои аналитические школы есть в Польше, Финляндии, Италии, Словении и других странах. Более того, исследовательский интерес философов-аналитиков направлен уже не только на проблемы языка, логики, мышления, но также на такие актуальные вопросы современности, как взаимодействие естественного и искусственного интеллекта, взаимосвязь этических и правовых аспектов управления в современном обществе, а также проблемы истории, человеческого общения, искусства и др. Соответственно, наиболее часто используемое определение аналитической философии как *направления англо-американской философской мысли, основанного на методе анализа и изучающего проблемы языка и мышления путем приведения их в строгую формально-логическую структуру*, оказывается в современных условиях уже не актуальным.

К сожалению, составить сегодня полное, непротиворечивое и отражающее актуальное состояние развития аналитической философии определение представляется задачей недостижимой. В данном случае нам кажется более уместным контекстуальное определение аналитической философии, отвечающее прагматическим требованиям той или иной ситуации и не противоречащее

при этом логическим законам. Тем более, что принцип контекстуальности и индивидуального подхода к каждому отдельному языковому случаю становится приоритетным для современных аналитических концепций.

Развитие аналитической философии в XXI в. представляет собой не только многообразие философских идей и программ, но и отличается методологическим и концептуальным разнообразием, затрудняющим классификацию данного направления на отдельные перетекающие друг в друга исторические этапы развития. В данном случае нам близка позиция одного из западных исследователей аналитической традиции Н. Решера, который предлагает различать так называемую *доктринальную*, т.е. представленную различными философскими концепциями, и *методологическую* часть в истории аналитической философии [12, с. 455–465]. И если в отношении доктринальной части действительно невозможно проследить явную эволюцию от Фреге к Расселу, от Рассела к Витгенштейну и т. д., то основания методологической программы аналитической философии служат связующим звеном, объединяющим самых различных аналитиков.

Характерными для представителей всей аналитической философии в целом методологическими предписаниями, по мнению Н. Решера, являются следующие: «старайся внести четкость и ясность в свою философскую работу; не увлекайся туманными идеями и неправомерными предложениями, а старайся представлять свои философские идеи такими ясными и определенными, как только возможно; развивай и улучшай аппарат логико-лингвистического анализа и потом с наибольшей пользой употребляй его для придания доказательности своей точке зрения с такой максимальной ясностью, как того требуют обстоятельства» [12,

с. 464]. В условиях современного социального и культурного пространства, где существующие законы являются настолько изменчивыми и неясными, а этические принципы настолько неопределенными и необязательными в исполнении, применение данных принципов может оказаться весьма продуктивным не только в профессиональной деятельности философа, но и в жизни каждого человека.

#### Список цитированных источников

1. Философский словарь: Основан Г. Шмидтом. – М.: Республика, 2003.
2. Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991.
3. Новейший философский словарь / под общ. ред. А. П. Ярешенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.
4. Краткий энциклопедический словарь философских терминов / П. В. Кикель, Э. М. Сороко. – 2-е изд. – Минск: БГПУ, 2008.
5. Новейший философский словарь. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Интерпрессервис: Кн. Дом, 2001.
6. Аналитическая философия: становление и развитие (антология). – М.: Дом интеллектуальной книги: Прогресс-традиция, 1998.
7. Грязнов, А. Ф. Аналитическая философия / А. Ф. Грязнов. – М.: Высш. шк., 2006.
8. Шрамко, Я. В. Что такое аналитическая философия / Я. В. Шрамко // Актуальні проблеми духовності. – Кривий Ріг, 2006.
9. Серль, Дж. Философия языка: пер. с англ. / Дж. Серль. – М.: Едиториал УРСС, 2004.
10. Dummett, M. Origins of Analytical Philosophy / M. Dummett. – London: Duckworth, 1993.
11. Никоненко, С. В. Аналитическая философия: основные концепции / С. В. Никоненко. – СПб.: Изд-во С.-Петербург. ун-та, 2007.
12. Решер, Н. Взлет и падение аналитической философии / Н. Решер // Аналитическая философия: избр. тексты. – М.: Изд-во МГУ, 1993.

Дата поступления в редакцию: 24.09.2009 г.

УДК 1(470)

## Методология Тартуско-Московской семиотической школы и проблема идеологического анализа текста

**В. В. Бурсевич**, аспирант\*

*В статье осуществляется анализ методологических стратегий исследования текста в рамках Тартуско-Московской семиотической школы. Особое внимание уделяется проблеме корреляции таких феноменов, как текст и идеология. Автор пытается ответить на вопрос: сохраняют ли методологические презумпции представителей школы познавательный потенциал в отношении современной проблемы идеологического анализа текста?*

## The Methodology of Tartu-Moscow Semiotic School and the Question of the Ideological Text Analysis

**V. Bursevich**, Postgraduate Student

*The article examines methodological strategies to text investigation offered by the representatives of Tartu-Moscow semiotic school. The main attention is devoted to the aspects of correlation between such phenomena as text and ideology. The author tries to answer the question whether methodological backgrounds of School keep heuristic potential in connection with a contemporary problem of ideological text analysis.*

Неизменный интерес философской мысли к семиотическим и лингвистическим проблемам может быть объяснен тем, что «каждая культурная система и каждый акт общественного поведения, – как отмечал американский лингвист Э. Сепир, – явно или скрыто подразумевает коммуникацию» [1, с. 321], т. е. культуру можно рассматривать как гигантское сообщение человечества самому себе. Такая точка зрения означает семиотизацию и текстуализацию универсума. Особенно это касается современного этапа развития общества, когда распространение средств массовой коммуникации подменяет общение человека с физическими объектами общением с текстами различной природы. В этой связи проблема понимания понятия «текст», а также анализа конкретных текстов становится особенно значимой.

Одновременно лидирующие позиции в рейтинге наиболее актуальных вопросов занимают сегодня проблемы, связанные с исследованием феноменов властного воздействия и господства, а также идеологии. Несмотря на то, что попытки осмысления сущности идеологии предпринимались в философской и социальной мысли достаточно давно, начиная с работ французских идеологов XVIII в., однако именно в современную эпоху эта проблема обрела поистине колоссальное значение.

Хотя проблема идеологии содержит в себе множество самых различных аспектов, у нее имеется одна сторона, обретающая особую актуальность в связи с интересом к философии языка и семиотике. Этот аспект – взаимоотношение идеологии и языка. Уже М. М. Бахтин, пытаясь связать феномены сознания и идеологии, находит опосредующее звено именно в языке: «все идеологическое обладает значением: оно представляет, изображает, замещает нечто вне его находящееся, т. е. является знаком. Где нет знака – нет и идеологии» [2, с. 302]. На вопрос: почему идеология в ряде концепций связывается именно с языком, – убедительно отвечает французский семиотик Р. Барт: «всякое господство начинается с запрета на язык» [3, с. 83]. Таким образом, семиотический подход к идеологии оправдывается, во-первых, тем, что идеология существует, только воплощаясь в знаковые формы; во-вторых, язык как социальный посредник оказывается сгустком идеологии.

Проблема связи языка и идеологии нашла отражение в работах многих исследователей, как в лоне семиотики Р. Барта и Ю. Кристевой, так и в рамках такого междисциплинарного направления, как дискурс-анализ. Однако, не отказываясь от обращения к многочисленным западным семиотическим исследованиям, следует более подробно проанализировать не менее оригинальные концепции, сложившиеся в рамках близкой нам как в культурном, так и в языковом отношении, русской традиции, а именно в Тартуско-Мо-

---

\* Научный руководитель – доктор философских наук, профессор Т. Г. Румянцева.



сковской семиотической школе. Поэтому цель данной статьи — проследить, не оставляют ли основные методологические презумпции Тартуско-Московской школы пространства для идеологического анализа и, следовательно, имеются ли перспективы для использования методологии тартуско-московских семиотиков в контексте идеологического анализа текста. Для ответа на эти вопросы будет предпринята попытка реконструировать специфику понимания идеологии и ее связи с понятием «вторичных моделирующих систем» в работах представителей школы. В статье предполагается рассмотреть, как все уровни текстового анализа Тартуско-Московской школы могут быть связаны с проблемой идеологической нагруженности текста:

— начиная со структурного анализа, на уровне которого проблема идеологических структур текста может подниматься в связи с такими методологическими принципами школы, как пространственное понимание текста и аналогия текста и личности;

— продолжая динамическим уровнем анализа, в рамках которого принцип гетерогенности может служить основой для обнаружения множественности идеологических структур текста;

— заканчивая прагматикой текста, позволяющей выявить возможности идеологического воздействия текста на воспринимающего.

Тартуско-Московская семиотическая школа, зародившись в 1962–1964 гг., объединила в рамках Летних семиотических школ таких выдающихся семиотиков, лингвистов и литературоведов, как Ю. М. Лотман, В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, А. М. Пятигорский, И. И. Ревзин и др. Несмотря на то, что представители школы никогда не ограничивали себя рамками искусственно созданного единства, а многие теории создавались по ходу исследования конкретного эмпирического материала как объясняющие гипотезы, за всем многообразием имен и подходов прослеживается бесспорная концентрация исследовательского внимания на проблеме текста, а также поиске методологических стратегий его анализа.

Естественно, нельзя ожидать, что проблема взаимосвязи текста и идеологии может быть проявлена у тартуско-московских семиотиков в столь широком объеме, как она представлена в работах западных авторов. В том замкнутом, насквозь пропитанном властными воздействиями официальной идеологии социальном пространстве, в котором приходилось работать исследователям, проблема анализа идеологии как таковой и ее связи с производством речи вряд ли могла быть отчетливо поставлена и объективно разрешена.

Необходимо также отметить, что русских исследователей отличает даже некоторое сознательное избегание идеологических вопросов, которое проявлялось как в замкнутости самой исследовательской группы (семиотические конференции для их участников стали неким спасительным островом научной свободы), так и в тенденции на замыкание объекта исследования, обращение к истории, а не современности, что неоднократно инкриминировалось семиотикам как основной недостаток школы. На первый взгляд, все вышесказанное, казалось бы, делает невозможным постановку вопроса о каком-то идеологическом анализе в семиотике Тартуско-Московской школы. Но то, что во главу угла русскими семиотиками был поставлен не просто структурный анализ, но исследование процессов конвертирования текстов в рамках культуры и конкретных коммуникативных ситуаций, а следовательно, взаимодействие автора и читателя неизбежно предполагает связь с проблемой идеологического воздействия. Помимо прочего, следует вспомнить и о том, что именно понятие текста в рамках семиотики, особенно западных ее направлений, ориентированных на идеологический анализ, часто противопоставляется тотальности идеологической системы. Таким образом, обращение семиотиков Тартуско-Московской школы к проблеме текста, его структуре и особенно к прагматике текста имплицитно подразумевает исследование идеологических структур, пронизывающих текст.

Следует признать, что непосредственно понятие «идеология» относительно редко встречается в текстовых анализах Тартуско-Московской школы. Но это еще не означает, что подобная проблематика однозначно исключается их методологией. Возможно, некоторые оттенки понятия «идеологии» проявляются в иных категориях, используемых представителями школы. Здесь в наших исканиях на помощь совершенно неожиданно приходит Р. Барт, чья методология, бесспорно, в корне отлична от методологии Тартуско-Московской школы, но чьи работы, посвященные исследованию сущности и роли феномена идеологии, можно рассматривать в качестве программных, поскольку он одним из первых осуществляет попытку рассмотреть идеологию через призму языка. Важным для нас оказывается замечание Р. Барта о том, что в качестве субстрата идеологического знака используется не материя, но уже имеющийся смысл, который приобретает дополнительный оттенок. Благодаря флеру, набрасываемому новой символической системой на первоначальную знаковую базу, «текст как бы ведет человека» [4, с. 306]. Таким образом, идеология связывается с поняти-

ем вторичной знаковой системы, надстраиваемой над первичным слоем языка.

Следует напомнить, что одним из ведущих концептов Тартуско-Московской школы является именно понятие «вторичных моделирующих систем», под которыми предлагается понимать такие системы, которые, возникая на основе естественного языка, получают дополнительную вторичную структуру. Однако, если представители западной ветви семиотики подчеркивают, что подмена первоначального смысла вещей происходит в первую очередь в рамках идеологических сообщений, то представителями Тартуско-Московской школы понятие вторичной моделирующей системы используется по отношению ко всему массиву культуры, поскольку всякое культурное сообщение выстраивается как надстроенный смысл. Любой язык строится на основе системы эквивалентностей между двумя планами реальности. Вторичные моделирующие системы, надстраиваясь над реальностью, выражают ее в новой форме. Тем не менее ни одна моделирующая система не может воссоздать реальность в полном масштабе, она отражает лишь некоторые избранные ее стороны. Иными словами, она в буквальном смысле строится как моделирование реальности. Аналогичным образом, исследование самих моделирующих систем не может охватить их в полном объеме и основывается на выявлении структур, лежащих в их основе. По отношению к реальному тексту, в котором она воплощается, структура всегда оказывается более системной и упорядоченной. Признавая это, тартуско-московские исследователи невольно признают идеологическую природу любого культурного текста, поскольку он отражает мир с некоторых ограниченных позиций, а также идеологический аспект деятельности самого исследователя, который по отношению к тексту пытается построить объяснительную модель, будучи детерминирован спецификой своего взгляда на мир.

Достаточно спокойное, в отличие от западных исследователей, отношение семиотиков Тартуско-Московской школы к идеологическому, а точнее, полное отсутствие критики явных и скрытых идеологических течений, пронизывающих текст, обусловлено не только социально-политическими обстоятельствами, но, скорее, особенностями понимания самого идеологического. Если, например, французские исследователи следуют марксистскому пониманию идеологии как совокупности социально обусловленных «иллюзий класса о самом себе» [5, с. 46], которые призваны обосновывать господство власть имущих, то группа тартуско-московских семиотиков следует не за марк-

систским, а за более широким, так называемым дескриптивным определением идеологии. Например, Б. А. Успенский понимает под идеологическим уровнем текста тот, который связан с «общей системой идейного восприятия» [6, с. 22]. Иными словами, любая сформировавшаяся позиция по отношению к миру, каждая целостная система мировоззрения, отраженная в тексте, рассматривается как идеологическая.

Особая трактовка идеологии, наследуемая тартуско-московскими семиотиками у традиции русского литературоведения, сегодня может быть органично вписана в социально-онтологический подход к пониманию феномена идеологии, значимость которого постепенно повышается по сравнению с узкими политическими интерпретациями. В соответствии с онтологическим подходом под идеологией понимается совокупность взглядов, ценностей и норм поведения, разделяемая социальной группой и заданная ее уникальным местом в социальной структуре. Иначе говоря, идеология теряет свою окраску искаженной картины мира, детерминированной распределением власти и противопоставляемой некоему объективному взгляду на мир, и приобретает характер своеобразного коллективного мировоззрения, способа социальной идентификации, выражаемого в том числе и в речевых практиках членов группы. Следует отметить, что именно онтологический подход все чаще берется на вооружение и современными направлениями текстового анализа, ориентированными на вскрытие взаимосвязей между особенностями идеологической системы группы и продуктами ее речевой деятельности.

В этом контексте некоторые важнейшие методологические принципы, разделяемые представителями Тартуско-Московской школы, дают основание для положительного ответа на вопрос о возможности применения их методологии для анализа различных идеологических позиций в тексте. Первой из таких основополагающих презумпций в плане структурного анализа является пространственное понимание текста. Текст пространственен как в силу того простого факта, что он размещается на определенном материальном субстрате, так и потому, что информация в нем особым образом организована и иерархически распределена. Кроме того, текст — не просто особое пространство, но единство пространственно-временной структуры, т. е. хронотоп в терминологии М. М. Бахтина. Как отмечает В. Н. Топоров, «пространство возникает не только и, может быть, не столько через от-деление его от чего-то, через выделение его из Хаоса ..., но и через раз-вертывание его вовне по отношению к некоему центру...» [7,

с. 239]. Для русских семиотиков текст подобен сложно структурированному организму, иерархической системе, хотя он и предполагает принципиальную множественность и подвижность границ центра и периферии.

Проблема понимания идеологического также фокусируется вокруг ментальной топологии и географии, где система идеологических ценностей оказывается отражением взгляда коллективного субъекта на мир с некой заданной позиции в социальном пространстве. При этом центром любой идеологической системы оказывается своеобразное членение мира, проведение в нем границ между групповыми интересами и внешним пространством. Как показывают Ю. М. Лотман, Б. А. Успенский, В. Н. Топоров, структурно текст следует схожей топологии, выстраиваясь вокруг идейного ядра и периферийных структур. Центральной проблемой исследователя становится попытка разработать общую теорию композиции, которая бы занималась закономерностями структурной организации текста и выявлением содержащихся в нем точек зрения, «то есть авторских позиций, с которых ведется повествование (описание)» [6, с. 16].

Помимо того, особые возможности для выявления связанности текста с идеологическими структурами предоставляет развиваемая Ю. М. Лотманом аналогия текста и личности. Текст в рамках русской семиотики есть «семиотическая личность» [8, с. 15]. При этом личность понимается как интеллектуальная личность, поэтому текст понимается как мыслящее устройство, способное к интеллектуальному усилию. Предлагаемая тартуско-московскими исследователями структура текста в виде жесткого ядра и энтропийной периферии во многом напоминает характерную структуру личности. Для сравнения можно привести рассуждения А. Ф. Лосева о структуре личности: «Реальная личность должна иметь пребывающее ядро и переменчивые акциденции, связанные с этим ядром как его энергичные самопроявления» [9, с. 72]. Собственно, даже функции текста, выделяемые членами школы, воспроизводят важнейшие способности личности. Как возможность процесса индивидуации связана с появлением механизмов памяти, так и способность текста функционировать в качестве интеллектуального устройства связана с функцией конденсирования информации, на основе которой в дальнейшем возможно творческое ее преобразование. Кроме того, как и личности, любому тексту присуща в определенной мере автономность поведения. Поскольку же личность немыслима вне целостного мировоззрения, упорядоченной системы взглядов, то строго следуя заданной Ю. М. Лотманом аналогии, мож-

но сделать вывод о некотором внутреннем структурном и идейном, т. е. идеологическом, единстве текста, которое позволяет ему при всех трансформациях оставаться собой и воспроизводить свою структуру.

Тем не менее тартуско-московские исследователи отчетливо осознают, что приписать тексту однозначную структуру, в том числе можно было бы дополнить и единственную идеологическую структуру, — значит заведомо упростить объект исследования. Таким образом, семиотические исследования приводят представителей школы к осознанию необходимости построения динамических моделей текста, которые имеют то преимущество, что позволяют учитывать несистемные элементы. В этом контексте особую значимость имеет пересмотр представителями Тартуско-Московской школы понятия кода — квинтэссенции идеологического воздействия. Уже на ранних этапах исследовательской деятельности была отмечена опасность использования термина «код», поскольку он несет представление о «структуре только что созданной, искусственной и введенной мгновенной договоренностью» [10, с. 16]. Код не подразумевает истории и развития, ориентирует на некий жесткий искусственный язык и статические модели. В оппозиции «код — текст» именно текст обретает первичную реальность. В большинстве случаев люди сталкиваются с уже готовыми культурными текстами и на их основе вынуждены воссоздавать дешифрующие коды. Кроме того, коды множественны и наслаиваются друг на друга. В результате того, что возможна перестройка кодов, создается возможность для бесконечного порождения новых смыслов.

Несомненно, что на признание тартуско-московскими семиотиками многоязычия в качестве исходного принципа текста огромное влияние оказали работы М. М. Бахтина. Однако Бахтин подчеркивает, что диалог, хотя и требует языка для своей реализации, но репрезентируется не в самом языке. Вступать в диалогические отношения языки, языковые стили и диалекты могут лишь «при условии трансформации их в „мировоззрения“ (или некие языковые или речевые мироощущения), в „точки зрения“, в „социальные голоса“» [11, с. 329]. В рамках же Тартуско-Московской школы диалогизм из конкретной и смыслонаполненной встречи сознаний трансформируется в формальный принцип, задающий структуру и функционирование текста. Полиглотизм, таким образом, становится тем методологическим принципом, который, с одной стороны, не позволяет рассматривать текст в качестве прямой репрезентации идеологической системы автора, а с дру-

гой — позволяет избежать репрессивного отношения к тексту со стороны исследователя. Понимание текста как «нарочито многозначной словесной игры» [12, с. 53], поля столкновения разнонаправленных импульсов, тем не менее еще не означает впадения в некие крайности: напротив, Тартуско-Московская школа занимает умеренные позиции между тотальностью кода в классическом структурализме и мультипликацией множественности в постструктурализме.

Наиболее плодотворными возможностями для анализа идеологических структур и функций текста обладают идеи тартуско-московских семиотиков, затрагивающие проблемы прагматики текста, т. е. тех связей, в которые вступает функционирующий в культуре текст. Интерес к прагматике зарождается в связи с осознанием того, что механизм семиозиса предполагает взаимоотношение текста с чем-то иным, с выходящим за его собственные границы семиотически организованным контекстом. Иными словами, текст уже должен быть погружен в объемлющий его смысловой универсум, чтобы осуществлять свою творческую активность.

При исследовании связей текста и контекста для русских семиотиков определяющее значение играет феномен границы как системы фильтров, переводящих внешние тексту сообщения на его внутренний язык. Причем проблема границы оказывается неразрывно связанной с уже отмечавшейся проблемой «точки зрения». Оппозиция текста и контекста означает оппозицию внутренней и внешней точек зрения, а в данном контексте мы бы сказали, идеологии автора текста и противопоставляемой ей идеологии Другого. При этом разные точки зрения могут выражаться разными стилистическими средствами, как например, чередование обратной перспективы в центре и выпуклых форм «усиленно-сходящейся» перспективы по краям изображения в исследованных Б. А. Успенским иконических текстах [13, с. 260]. Иными словами, изображение ценностно, идеологически неравновесных текстовых структур дается в разных знаково-символических системах.

Поскольку текст, отмечает, например, А. М. Пятигорский, предстает как сообщение только в рамках семиотической ситуации, а семиотический процесс — это всегда процесс коммуникационного взаимодействия: «в понятие текста вводится презумпция создателя и аудитории, причем эти последние могут не совпадать по своим объемам с реальным автором и реальной аудиторией» [10, с. 102]. А так как в рамках тартуско-московских исследований текст понимается по аналогии с развивающимся организмом, фигура создателя оказывается здесь весьма значимой. Ю. И. Левин, на-

пример, понимает текст как «повествование, объединенное единством повествователя, реального или фиктивного» [14, с. 45]. Текст как единство системных и внесистемных элементов зависит от автора, поскольку образуется на пересечении, с одной стороны, господствующих в данной культурной ситуации знаковых систем, с другой — семиотических особенностей отправителя сообщения. Текст как определенный способ моделирования реальности, а следовательно, идеологическое образование, по мнению Ю. М. Лотмана, — «лишь элемент более сложной структуры, существующей только в отношении к таким структурным понятиям, как „модель мира“ и „модель авторской личности“, мировоззрение в наиболее широком смысле этого понятия» [15, с. 33].

В диаде «автор-читатель», особенно на ранних этапах своего творчества, тартуско-московские исследователи понимают читателя как подчиненную и пассивную инстанцию. Читатель настроен на понимание текста, поскольку имеет представление о его внетекстовых связях, включенности в контекст традиции и иных сходных текстов. Восприятие текста строится на основе постепенного применения к знаковому материалу текста заданных ожиданиями кодов, при этом читатель сравнивает свой гипотетический код с кодом автора произведения. Процесс взаимодействия автора и реципиента понимается представителями Тартуско-Московской школы как игра автора против читателя, где именно автор закладывает в текст определенные сигналы, позволяющие читателю ориентироваться в том, какой код применить в той или иной ситуации. Вследствие этого текст и оказывается способным выполнять определенные функции, т. е. «вызвать ответное действие объекта, которое выразится либо в изменении поведения объекта, либо в сигнале с его стороны, либо в ответном текстовом сообщении» [16, с. 23]. Таким образом, представители школы хотя и не говорят открыто об идеологическом воздействии, реализуемом посредством текста, но исследованные ими процессы взаимодействия текста, автора и читателя все же позволяют вскрыть идеологическую функцию текста, детерминированную фигурой автора или, более широко, создателя текста, который, обладая своей моделирующей системой, стремится навязать ее адресату, добиться того, чтобы читатель при восприятии текста руководствовался созданным им кодом.

В то же время нельзя и упрекнуть тартуско-московских семиотиков в упрощенном понимании процессов взаимодействия текста и воспринимающего, поскольку ими разрабатывается не только ситуация подавления текстом читателя, но и со-

бытие общения читателя с текстом. «Вместо формулы „потребитель дешифрует текст“ возможна более точная – «потребитель общается с текстом» [17, с. 132]. И хотя даже эта исправленная формула подспудно предполагает некоторую пассивность читателя, в связи с привычными коннотациями термина «потребитель», в данном случае процедура восприятия текста существенно усложняется, простая дешифровка уступает место общению двух семиотических личностей. Тем не менее, по мнению тартуско-московских исследователей, возможности таких трансформаций текста все же конечны, что подтверждается забвением многих культурных текстов в ходе истории. «Прагматические связи могут актуализовывать периферийные или автоматические структуры, но не способны вносить в текст принципиально отсутствующие в нем коды» [17, с. 153]. Следует отметить и то, что даже тексты, разрушенные несвойственными им кодами, могут продолжать свое существование в культуре уже в качестве материала для создания новых, вторичных текстов. Иными словами, процесс семиозиса оказывается бесконечным, текст понимается в терминах, введенных еще немецким лингвистом В. фон Гумбольдтом, не как «мертвый продукт, но как созидающий процесс» [18, с. 64].

Делая некоторые обобщения, следует отметить: несмотря на то, что представители Тартуско-Московской школы не предлагают какую-то явную методологию идеологического анализа, при соответствующей интерпретации базовые стратегии текстового анализа, предложенного школой, все же могут быть вплетены в поле современных исследований идеологии. С этой точки зрения, феномен текста, реконструируемый тартуско-московскими семиотиками, может быть рассмотрен как пространство реализации идеологической системы, заданной ему автором и отражающейся на структурной, динамической и прагматической сторонах текста. Тем не менее, руководствуясь основными идеями школы, следует отметить, что даже наличие в тексте достаточно устойчивого идеологического ядра не отрицает возможности ускользания от тоталитаризма единственной идеологической позиции. Это обусловлено не только презумпцией гетерогенности, но и тем, что текст не существует изолированно, он включен в обширное поле культуры и является частью глобальной ситуации коммуникации, обращаясь в пространстве пересечения сознаний, репрезентирую-

щих различные социальные позиции и интересы. Даже однозначно идеологически нагруженный текст может не реализовать необходимое идеологическое воздействие, поскольку он может стать основой для интерпретации со стороны читателя. Текст предлагает и намекает, какой «ключ» читатель мог бы использовать, но лишь от нас зависит: последовать проторенной дорогой или попытаться найти собственный путь в поисках смысла.

#### Список цитированных источников

1. *Яacobson, P. O.* Язык в отношении к другим системам коммуникации / P. O. Яacobson // Избранные работы. – М., 1985.
2. *Бахтин, М. М.* Марксизм и философия языка / М. М. Бахтин // Тетралогия. – М., 1998.
3. *Барт, P. S/Z / P. Барт // S/Z.* – М., 2001.
4. *Барт, P.* Риторика образа / P. Барт // Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М., 1989.
5. *Маркс, К.* Немецкая идеология / К. Маркс, Ф. Энгельс // Сочинения: в 3 т. – М., 1955. – Т. 3.
6. *Успенский, Б. А.* Поэтика композиции / Б. А. Успенский. – СПб., 2000.
7. *Топоров, В. Н.* Пространство и текст / В. Н. Топоров // Текст: семантика и структура. – М., 1983.
8. *Лотман, Ю. М.* О семиосфере / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике и типологии культуры: в 3 т. – Таллин, 1992. – Т. 1.
9. *Лосев, А. Ф.* Диалектика мифа / А. Ф. Лосев // Миф. Число. Сущность. – М., 1994.
10. *Лотман, Ю. М.* Культура и взрыв / Ю. М. Лотман // Семиосфера. – СПб., 2000.
11. *Бахтин, М. М.* 1961 год. Заметки / М. М. Бахтин // Собр. соч.: в 7 т. – М., 1996. – Т. 5.
12. *Лотман, Ю. М.* Феномен культуры / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике и типологии культуры: в 3 т. – Таллин, 1992. – Т. 1.
13. *Успенский, Б. А.* Семиотика иконы / Б. А. Успенский // Семиотика искусства. – М., 1995.
14. *Левин, Ю. И.* Повествовательная структура как генератор смысла: текст в тексте у Х. Л. Борхеса / Ю. И. Левин // Труды по знаковым системам. – 1981. – Т. 14.
15. *Лотман, Ю. М.* Лекции по структуральной поэтике / Ю. М. Лотман // Труды по знаковым системам. – 1961. – Т. 1.
16. *Пятигорский, А. М.* Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала / А. М. Пятигорский // Избр. тр. – М., 1996.
17. *Лотман, Ю. М.* Текст как семиотическая проблема / Ю. М. Лотман // Статьи по семиотике и типологии культуры: в 3 т. – Таллин, 1992. – Т. 1.
18. *Гумбольдт, В.* О различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человечества / В. Гумбольдт // Избранные труды по языкознанию. – М., 1991.

Дата поступления в редакцию: 26.02.2009 г.

# ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ И РЕЛИГИИ

- *Апокрифическая апокалиптика в иудейской традиции*
- *Неоязычество как религиозно-культурный феномен современности: проблема дефиниции*
- *Становление феноменологического подхода к исследованию религии*

УДК 2-252:26

## Апокрифическая апокалиптика в иудейской традиции

**О. В. Шубаро**, кандидат философских наук, доцент

*Данная статья посвящена исследованию особенностей жанра и анализу основных идей апокрифических апокалиптических текстов. Апокалиптическая литература возникла в иудейской традиции в период эллинизма. Апокрифы того периода сохранили ценную информацию об общественных настроениях, традиции, культуре народов Средиземноморья. Кроме того, исследование иудейской апокрифической литературы имеет безусловную ценность для изучения условий формирования христианской религиозной и литературной традиции.*

## The Apocryphal Apocalyptic in Judaic Tradition

**O. Shubaro**, PhD in Philosophy, Associate Professor

*This article is devoted the investigation of the peculiarities of style and analysis the principal ideas of apocryphal apocalyptic texts. Apocalyptic literature has sprung up in the Judaic tradition in the Hellenistic period. The apocryphal texts of that period saved valuable information about social frame of mind, traditions, culture of the people of Mediterranean. Besides the investigation of Judaic apocryphal literature has absolute value for studying the conditions of forming the Christian religious and literature tradition.*

Как известно, Библия (греч. *biblia* – книги) представляет собой собрание книг, разнообразных по жанру, тематике, времени появления. Библейский канон включает законодательные тексты, фрагменты хроник и летописей, исторические повести, мифы и легенды, произведения дидактического и религиозно-философского характера, духовную поэзию, любовную лирику и др. Все эти разнородные произведения создавались в течение целого тысячелетия: от XII в. до н. э. вплоть до II в. н. э. в рамках двух религиозных традиций – иудейской и христианской. Около 100 г. н. э. произошла кодификация и канонизация книг Ветхого Завета (Танах) в иудаизме, а к концу IV в. были канонизированы книги Нового Завета в христианстве.

В качестве ветхозаветного канона христианами был выбран греческий перевод Ветхого Завета – Септуагинта, не признаваемый иудеями. Этот перевод содержал одиннадцать дополнительных книг, которые вошли в состав Ветхого Завета в православной (неканонические книги) и в католической (канонические книги) традициях: 2 и 3 Книги Ездры, Книга Товита, Книга Юдифи, Книга Премудрости Соломона, Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, Послание Иеремии, Кни-

га Варуха, 1, 2, 3 Книги Маккавейские. Протестанты называют эти книги псевдоэпиграфами (от греч. *pseudo*, *epigraphe* – ложная надпись) и в библейский канон не включают.

Кроме псевдоэпиграфов, чье авторство для придания авторитета приписывалось известным библейским персонажам, существуют тексты апокрифического (от греч. *apokryphos* – тайный) характера, которые в Библию не включены, но тематически связаны с ней и в свое время претендовали на включение в канон: Псалмы Соломона, Книга Юбилеев, Книга Еноха, Завет 12 патриархов, Апокалипсис Варуха, Евангелие Псевдо-Матфея, Евангелие Фомы, Деяния Петра и Павла, Деяния Филиппа, Апокалипсис Павла, Апокалипсис Фомы, Откровение Варфоломея и др. В талмудической традиции апокрифы и псевдоэпиграфы объединены под общим названием «сфарим хициониим» («внешние книги»). Произведения, не включенные в библейский канон, сложились в основном в период от II в. до н. э. – по II в. н. э. В большинстве своем это была литература религиозно-социального характера, в которой в мистифицированной форме отражались социально-политические, национально-освободительные идеи различных народов, входивших в состав Римской

империи, переживавшей в тот период политический и экономический кризис.

Уверовавшие в Иисуса Христа, в его воскресение и вознесение стали ожидать скорого второго пришествия Мессии и его суда [Деян. 1:11; 1 Фес. 1:10]; «...сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» [Деян. 1:11]. Подобные эсхатологические настроения были свойственны и иудеям, которые не приняли христианство, но эсхатологические тревоги и чаяния которых достигли своего апогея во второй половине I в. н. э. В эти годы Иудея готовилась к серьезному противостоянию с римской властью, и многие восприняли это как явный признак «последних времен», окончательного сражения между силами добра и зла.

Неканонические тексты были насыщены видениями грядущего, эсхатологическими пророчествами, откровениями, приписываемыми известным библейским персонажам. Формальная сторона этих текстов отличалась использованием таинственной символики, понятной лишь посвященным. Неслучайно поэтому, что среди апокрифических текстов так много апокалипсисов. Этот жанр библейской письменности (от греч. *apokalypsis* – откровение) сформировался в иудейской традиции и предполагал изложение видений грядущих событий, полученных путем божественного озарения. «Бог открывает нечто отдельным мужам, – писал А. Мень, – которые рассказывают миру о том, что совершается в глубинах истории, какие силы управляют миром, к чему идет человечество и вся Вселенная» [1, с. 47]. Авторы апокрифов хотели надеяться (и в этом их желания полностью совпадали с установками, свойственными общественной психологии тех времен), что пророчество продолжает существовать, и оно предсказывает скорую победу и освобождение.

С точки зрения ортодоксальной традиции, содержание апокрифических текстов неоднородно. Часть неканонических текстов по способу и характеру осмысления и изложения событий примыкает к каноническим текстам, в других – преобладают фольклорные мотивы, присутствует элемент развлекательности; в третьих – доминирует философская, полемическая направленность.

Основные темы апокрифической литературы находятся в основном в русле библейской эсхатологии – это сотворение мира, представления о грехе и добродетели (грешниках и праведниках), приход Мессии, день Страшного Суда, борьба ангелов и демонов, вера в бессмертие души, вечную жизнь, установление Царства Божьего. Однако эти события описываются как предначертанные заранее и уже известные отдельным людям, но,

«начиная с Пятикнижия, Слово Божье всегда говорило о возможности для человека *избирать* путь и нести ответственность. Абсолютная предопределенность Писанию чужда» [2, с. 536]. В этом смысле понимание свободы воли и предопределенности в неканонических текстах существенно отличалось от трактовки этих понятий в текстах канонических. Согласно апокрифической апокалиптике, замысел Божий о грядущих судьбах мира и человека был записан на «небесных скрижалях».

Подобная вера в предопределенность всех событий стала одной из причин невключения псевдоэпиграфических текстов апокалиптического содержания в канон (были и другие причины – отступление от официального вероучения, вымышленное авторство, создание текста после формирования канона, отсутствие оригинального текста на иврите или древнегреческом и др.). Апокалиптическая литература возникла в эллинистическую эпоху, и основная ее цель, как уже было отмечено, открывать людям божественный замысел, что должно было усилить веру людей в могущество и справедливость Бога. Когда надеяться более было не на кого, люди обращались к Богу как к единственному защитнику праведников и судье нечестивых.

Следует отметить, что истоки апокалиптики связывают с пророческой литературой, во многом близкой по духу и содержанию «внешним книгам» апокалиптического характера. Действительно, в канонических пророческих книгах есть предсказание будущего, но этим текстам не хватает эсхатологического взгляда на описываемые события. По словам А. Менья, «мир в глазах апокалиптиков – это нечто уже кончающееся, уходящее; все их помышления направлены на последнюю борьбу добра со злом. Для пророков злые силы еще не столь очевидны, они выражаются в действии конкретных носителей зла /.../. Для апокалиптиков темные силы истории – это уже целые демонические полчища, полчища злых духов...» [1, с. 48]. Тем не менее и в канонических книгах можно обнаружить отдельные апокалиптические видения, например, «Апокалипсис Исайи» [Ис. гл. 24–27]. Эти видения являются преддверием Судного дня, причем Суд будет вершиться не только в отношении иудеев, но и язычников [Ис. 25:6]. Возможно, в «Апокалипсисе Исайи» присутствует одно из первых упоминаний о воскресении мертвых: «*Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела... и земля извергнет мертвецов*» [Ис. 26:19].

Эсхатологическими видениями насыщена Книга Пророка Иоилия, по мнению библеистов, жив-

шего в IV в. до н. э., когда Иудея находилась под властью персидских владык. Событием, предвещающим Судный день, является нашествие саранчи, которая уподобляется таинственной силе, вершащей возмездие: «...пришел на землю Мою народ сильный и бесчисленный; зубы у него — зубы львиные, и челюсти у него — как у львицы» [Иоиль 1:6]. Пророчество о Дне Господнем включает у Иоиля описание мировой катастрофы и торжества Царства Божьего: «...и будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменики проходить через него. И будет в тот день: горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все реки Иудейские наполнятся водою...» [Иоиль 3:17–18].

Эсхатологическим и апокалиптическим восприятием описываемых событий отличаются отдельные главы в Книге Пророка Захарии [Зах. 9–14]. Автор предрекает падение языческих империй, пророчествует о противостоянии сил света и тьмы, об эсхатологическом сражении. Царство Божье сравнивается с источником живой воды. В этом царстве владыкой будет только Господь: «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима, половина их к морю восточному и половина к морю западному... И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его едино» [Зах. 14:8–9].

И все-таки в указанных произведениях присутствуют только истоки апокалиптики. В этих текстах история человечества еще не переосмысливается в качестве метаистории, здесь еще нет рассуждений о переходе бытия в инобытие, пророки не раскрывают мистические тайны мира и истории. Напротив, «мир в глазах апокалиптиков — это нечто уже кончающееся, уходящее; все их помышления направлены на последнюю борьбу добра со злом» [1, с. 48]. Все внимание авторов апокалиптических текстов сосредоточено на прозрении последней тайны мира.

Такой взгляд на описываемые события встречается в Книге Пророка Даниила. Первые шесть глав были написаны в жанре мидраша (текста комментаторского характера) и включали истолкование Даниилом чужих видений. Начиная с 7-й главы, следуют собственно видения Даниила о судьбах мира. Главы с 7-й по 12-ю являются апокалиптическим по содержанию текстом, поскольку описываемые события выходят за рамки земной истории. В Книге Даниила присутствует философское осмысление истории как двустороннего процесса, для которого характерно как возрастание сил зла, так и приближение Царства Божьего. Автор текста предвещает падение языческих империй, символически изображаемых в виде зверо-выходящих из моря [Дан. 7:3] и приход Мес-

сии [Дан. 7:13–14]. В Книге говорится также о сроке испытаний, тайну которого раскрывает Даниилу ангел Гавриил: «*Семьдесят седмин определены для народа твоего и святого города твоего...*» [Дан. 9:24]. «Семьдесят седмин» — 490 лет от предсказания, данного Иеремии в период Плена [Иер. 29:10] — должны завершиться ко II в. до н. э. — времени правления Антиоха Эпифана, заставлявшего иудеев поклоняться языческим богам. Подобные видения должны были утешить людей, терпящих бедствия во время гонений. Апокалиптический характер Книге Даниила придает и описание эсхатологической битвы, отнесенной к «последним временам», пределам истории [Дан. 10:14]. Борьба сил света и тьмы завершится воскресением мертвых и спасением праведников: «*И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление*» [Дан. 12:2].

Автор Книги Даниила пишет о «мерзости запустения» [Дан. 11:31; 12:11]. Именно так называли эпоху правления Антиоха Эпифана. В истории иудейского народа II–I вв. до н. э. были временем испытаний, гонений, борьбы за веру. После освобождения из-под власти Селевкидов начинаются внутренние проблемы. После недолгого периода независимости Иудея вновь попадает под власть Римской империи. Правление царя Ирода не принесло утешения народу. В такой сложный период обостряются эсхатологические чаяния людей, их надежды на освобождение связываются с приходом Мессии, наступлением долгожданного Царства Божьего. Именно на этот период приходится расцвет иудейской апокалиптики, развивавшей идеи, образы и замысел пророческой литературы. Самой ранней и, пожалуй, самой известной является Книга Еноха (II–I вв. до н. э.), которая является типичным псевдоэпиграфом. Она написана от имени Еноха — библейского персонажа, взятого Богом живым на небо. Об Енохе упоминают Книга Бытия [Быт. 5:23] и Книга Иисуса, сына Сирахова: «*Енох угодил Господу и был взят на небо, — образ покаяния для всех родов*» [Сир. 44:15]. Тем самым не только подчеркивается особая праведность Еноха, но и объясняются условия получения Енохом тайного знания. Ангел раскрывает Еноху тайны мироздания, записанные на небесных скрижалях: «*И я рассмотрел все на небесных скрижалях, и прочитал все, что было написано на них, и заметил для себя все, и прочитал книгу и все, что было в ней, все дела людей и всех телесно рожденных, которые будут на земле до самых отдаленных родов*» [3, с. 65].

В тексте описывается посещение Енохом загробного мира, ада и рая; в произведении явно выражена идея загробного воздаяния: «*И когда тай-*



ны праведных будут открыты, тогда грешники будут судимы и нечестивые будут отвергнуты от лица праведных и избранных. И отныне не будут более сильными и вознесенными те, которые владеют землею, и не будут в состоянии видеть лицо святых, ибо свет Господа духов будет сиять на лице святых, и праведных, и избранных» [Там же, с. 32]. Видения Еноха раскрывают тайны устройства мироздания, излагают историю человечества от сотворения мира до Страшного суда. Книга Еноха излагает отличную от канонических текстов историю грехопадения. Согласно Еноху, именно Сыны Божии, ангелы, научили вопреки воле Господа людей магии, колдовству, производству оружия. Из-за этого Бог ввергает их в бездну: «И Уриил сказал мне: „Здесь будут находиться духи ангелов, которые соединились с женами и, принявши различные виды, осквернили людей и соблазнили их, чтобы они приносили жертвы демонам, как богам...“» [Там же, с. 25].

Автор Книги Еноха предсказывает наступление Страшного суда, в ходе которого грешников ждут жесточайшие муки; описывается приход Мессии, который, хоть и назван Сыном человеческим, скорее подобен ангелу: «Перед Ним упадут и поклонятся все живущие на земле, и будут хвалить, и прославлять, и петь хвалу имени Господа духов» [Там же, с. 38]. Вслед за Судом Божьим ожидается воскресение мертвых, сопровождающееся обновлением неба и земли; это будет время земного благоденствия: «И в те дни земля возвратит вверенное ей, и царство мертвых возвратит вверенное ему, что оно получило, и преисподняя отдаст назад то, что обязана отдать. /.../ ...и земля возрадуется, и на ней будут жить праведные, и избранные будут ходить и шествовать по ней» [Там же, с. 39]. В Книге Еноха, как и в Книге пророка Даниила, история мира описывается в седминах (только у Еноха насчитывается десять седмин). Однако автор апокрифа не только подчеркивает, что все события предопределены Богом, но и трактует мировые события как регресс, характеризующийся упадком нравов и всеобщим ожесточением. С точки зрения исследователей, «если автор Книги Даниила ждет в конечные дни раскаяния и прощения падших, то автор Книги Еноха — неумолимого небесного грома Страшного Суда, который уничтожит нечестивых» [4, с. 374].

Однако видения авторов апокалиптических текстов говорят о возможности спасения через покаяние и веру в единого Бога, которому поклоняются иудеи. В Пророчествах Сивиллы, написанных в период нахождения иудеев под властью Селевкидов, сильны антиримские настроения и явно выражена надежда на окончательное избавление

от власти язычников. В книге присутствует надежда, что и язычники раскаются, откажутся от идолопоклонства и примут веру в единого Бога, иначе их ждет Суд Господень: «Будет судить Господь вас всех мечом и войною, пламенем и дождем, затопляющим землю, и серой, с неба летящей, камнями огромными, градом ужасным и умерщвлением повсюду животных и четвероногих» [5, с. 20].

К началу I в. до н. э. относится еще один текст, более соответствующий жанру мидраша, написанный в подражание завещанию Иакова [Быт. 49], — Заветы двенадцати патриархов. Однако содержание этого произведения не ограничивается пророчествами и нравственными наставлениями. Здесь присутствуют мессианские и эсхатологические настроения, а Заветы Левия, Неффалима, Иосифа включают видения, имеющие апокалиптический характер. Здесь говорится о спасении, которое придет от колен Левия и Иуды [6, с. 217]; концепция истории снова представлена в виде седмин: «И теперь я узнал, что семьдесят седмин вы будете заблуждаться, и священство обесчестите, и жертвенники оскверните» [Там же, с. 225]. В тексте предрекается приход Мессии, который будет вершить Страшный Суд и установит Царство Божье, а также говорится о грядущем воскресении праведников: «И после восстанет Авраам, и Исаак, и Иаков к жизни, и я и братья мои будем начальниками скипетров во Израиле...» [Там же, с. 238].

Исторические катаклизмы в апокалиптической литературе описываются в терминах катаклизмов природных: «Итак, познай теперь, что совершит Господь суд над сынами человеческими; ибо, когда камни распадутся, и солнце угаснет, и воды иссякнут и огонь скроется от страха, и вся тварь придет в смятение, и невидимые духи растают, и ад обнажится, тогда люди непокорные останутся в неправдах, ради сего они будут осуждены на наказание» [Там же, с. 219]. Мессианские пророчества присутствуют и в апокрифическом тексте Псалмы Соломона. Один из псалмов описывает пришествие Мессии, который изгонит из Иерусалима язычников и всех тех, которые не почитают Бога. Таким образом, общие темы апокалиптики отражены и здесь: ожидание Суда Господня, воскресение праведников, упование вечной жизни.

К традиции иудейской апокалиптики принадлежит сохранившийся в латинской версии псевдоэпиграфический текст, который называется Вознесение Моисея. Его датируют I в. н. э. Подобно автору Псалмов Соломона, автор Вознесения Моисея призывает к сопротивлению язычникам, говорит о приближении Царства Божьего: «И тогда явится Царствие Его во всяком творении

*Его. И тогда Дьявол обретет конец, и скорбь с ним отойдет. Тогда наполнится рука ангела, утвержденного на небесах, и тотчас избавит он их от врагов их. /.../. И задрожит земля и до пределов своих сотрясется, и высокие горы понизятся и сотрясутся, и долины падут, солнце не даст света, и во мрак обратятся рога луны и сокрушатся, и все обратится в кровь, и круг звезд смещается, и море отступит до бездны, и источники вод иссякнут, и реки высохнут» [7, с. 136–137].*

Иудейская апокалиптика создавалась в эллинистическую эпоху частично на древнееврейском языке, частично — на арамейском и древнегреческом. В то же время многие тексты сохранились в греческих, латинских, эфиопских, славянских переводах. Но именно в этот период эллинизма еврейская диаспора смогла сформировать и продемонстрировать собственную культурную и религиозную идентичность. Уникальное культурное наследие, в данном случае речь идет прежде всего о литературном творчестве, не растворилось среди нееврейского окружения, а показало свою способность к взаимодействию с культурой нееврейского большинства при сохранении собственной самобытности и оригинальности.

Апокрифы эллинистического и римского периодов сохранили ценную информацию об общественных настроениях, традициях, культуре того времени. Эти тексты являются ценным источни-

ком для изучения истории развития иудаизма в эпоху Второго Храма и в период Мишны и Талмуда. Анализ данных текстов поможет лучше изучить особенности развития раввинистического иудаизма. Кроме того, исследование иудейской апокрифической литературы имеет безусловную ценность для изучения среды и условий, в которых происходило формирование христианской традиции.

#### Список цитированных источников

1. *Мень, А. В.* Введение / А. В. Мень // Апокалипсис. Откровение Иоанна Богослова: комментарий. — Рига: Фонд им. Александра Меня, 1992.
2. *Мень, А. В.* Апокалиптические писания и борьба за веру / А. В. Мень // Исагогика. — М.: Фонд им. Александра Меня, 2000.
3. Книга Еноха // Книга Еноха: апокрифы. — СПб.: Азбука, 2000.
4. *Синило, Г. В.* Древнееврейская литература / Г. В. Синило // Древние литературы Ближнего Востока и мир Танаха (Ветхого Завета). — Минск: Экономпресс, 1998.
5. Книги Сивилл // Апокрифические апокалипсисы: сборник / пер., вступ. ст. и коммент.: М. Витковская, В. Витковский. — СПб.: Алетейя, 2001.
6. Заветы двенадцати патриархов // Книга Еноха: апокрифы. — СПб.: Азбука, 2000.
7. Вознесение Моисея // Апокрифические апокалипсисы / пер., вступ. ст. и коммент.: М. Витковская, В. Витковский. — СПб.: Алетейя, 2001.

*Дата поступления в редакцию: 10.02.2010 г.*

УДК 008:1:299.572

## Неоязычество как религиозно-культурный феномен современности: проблема дефиниции

**И. Б. Михеева**, кандидат философских наук, доцент

*В статье осуществлен панорамный обзор основных методологических подходов отечественных и зарубежных исследователей к определению и анализу неоязыческих тенденций в современной культуре. Делается вывод о необходимости дальнейшей концептуализации понятия неоязычества, выработки междисциплинарной стратегии его изучения и предлагается авторская версия соответствующей дефиниции.*

## Neo-paganism as a Modern Religious and Cultural Phenomenon: the Problem of Definition

**I. Micheewa**, PhD in Philosophy, Associate Professor

*The article presents an overview of the main methodological approaches of domestic and foreign researchers to the identification and analysis of neo-pagan tendencies in modern culture. The author draws conclusions about the necessity of further conceptualization of the neo-paganism concept, development of interdisciplinary strategies of studying and proposes the author's version of the relevant definition.*

Глобальные социокультурные трансформации начала XXI в. радикально видоизменяют канву индивидуальной и общественной жизни, проблематизируя привычные мировоззренческие ориентиры, традиционные системы ценностей и устоявшиеся модели самоидентификации. Возникает целый веер альтернативных построений, претендующих на достижение и поддержание традиционного духовно-нравственного равновесия человеческой и социальной жизни. Одной из таких альтернатив выступает комплекс специфических процессов и явлений, условно обозначаемый как неоязычество. Возрастающая актуальность изучения данного феномена обусловлена, прежде всего, тем обстоятельством, что в условиях глобальной социальной универсализации и транзитивности неоязыческие тенденции наращивают свой дестабилизационный потенциал. В политике это может проявляться ростом и радикализацией националистических, шовинистических и расистских настроений; в религиозной сфере – увеличением числа псевдорелигиозных, в том числе деструктивных, групп и движений; в культуре в целом – пропагандой альтернативных общепринятым ценностям норм поведения и программ жизнедеятельности, построенных на вненаучных спекуляциях об «исторических корнях нации», «истинных» жизненных идеалах и ориентирах, специфических формах существования человека и природного окружения и т. п.

Широкий спектр объективаций неоязыческих тенденций предопределяет принципиальные затруднения в их концептуализации и системати-

ческом изучении. В отечественной и зарубежной гуманитаристике предпринимаются постоянные попытки дескриптивного описания и научного анализа неоязычества, выработки адекватных методологических стратегий изучения и прогнозирования его динамики, систематизации и классификации основных проявлений [см., например: 1–6]. Однако по-прежнему малоудовлетворительными оказываются поиски научно корректного и семантически оптимального определения этого явления. В связи с этим понятие «неоязычество» в современном научном обиходе не является общепризнанным термином с соответствующим содержательным потенциалом и потому употребляется в весьма широком контексте.

Для решения проблемы выработки соответствующей дефиниции неоязычества необходимо исходить, по меньшей мере, из следующих эмпирических констатаций и методологических положений – факта очевидной плюральности и многовекторности проявлений неоязычества в социальной жизни, тезиса о транзитивном характере неоязыческих тенденций в динамике культуры, а также системы наработанных в современной гуманитаристике определений неоязычества, каждое из которых фиксирует некоторую важную характеристику его генезиса, сущности или типологии.

*Плюральность и многовекторность проявлений неоязычества.* В различных областях и сферах человеческого бытия неоязычество репрезентирует себя по-разному. Прежде всего, следует говорить о религиозной сфере, где язычество (и неоязыче-

ство) впервые конституируется и получает свое наименование. В целом в области религиозного неоязыческая специфика конкретизируется через политеистическую мировоззренческую установку и связанную с ней пантеистическую идею. В своей совокупности эти и подобные им воззрения, не выдерживающие критериев ортодоксального монотеизма, могут быть обозначены как «нетеистическая религиозность» [7, с. 263]. Основными чертами последней являются такие характеристики, как отсутствие единого учения, репрезентирующего традицию в целостном виде, инструментальное понимание сакрального, тотализация традиции, невозможность перехода в данный тип религии извне и проч. Исследователи констатируют факт нарастания в мировой и европейской культуре в целом и в белорусском обществе в частности неорелигиозных ориентаций и неокультов неоязыческой направленности. При этом особенностью обозначенных процессов является не только их собственно религиозная, но также достаточно четкая политическая и общественная ориентированность [см., например: 8–10]. Неоязыческие объединения и движения зачастую не просто реконструируют языческие традиции и обряды прошлого, но претендуют на создание весьма неоднозначных альтернативных мировоззренческих и идеологических проектов по переустройству социума, как правило, характеризующихся псевдонаучным и псевдорелигиозным содержанием, деструктивной направленностью, националистической и расистской тональностью. В условиях усиливающихся тенденций глобализации, общемировых кризисных напряженностей и окончательно концептуально не оформленных идеологических государственных программ подобные проекты несут реальную опасность по дестабилизации белорусского общества и радикализации определенных политических сил, как это демонстрирует опыт ряда европейских стран [см., например: 5–6, 8, 18–19].

В философском дискурсе неоязычество коррелируется с концептуальными построениями, исходящими из идеи органицизма как установки на утверждение онтологической укорененности сущего и его изначально биоморфного характера<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Если историческое язычество отождествляло человека с природным естеством или определенными его фрагментами (фетишизм, анимизм как проявления подобной самоидентификации), то современную культуру отличает так же безусловно языческое по своему характеру формирующееся экоразмерное мышление, нацеливающее человеческое сообщество на преодоление каких-либо принципиальных различий между ним и целостным биосферным комплексом. Смена антропоцентрической (антропоморф-

Современная философская рефлексия все чаще обнаруживает постоянно нарастающие неоязыческие мотивы и явное смещение акцентов в трактовке рациональности. Среди наиболее репрезентативных и показательных в этом отношении можно назвать концептуальные проекты «рекультивации архаики» [11] и «новой метафизики» [12]. Так, в «новой метафизике», заявляемой в качестве гуманитарной парадигмы философствования XXI в., неоязычество определяется как общая траектория эволюции философского дискурса последних двух столетий, направленная от онтологии к гносеологии, и далее через аксиологию и культурологию — к персонологии [там же, с. 408]. Иными словами, «неоязычески размерная» философия современности претендует на интимизированное, личностно ориентированное и персоналистически окрашенное понимание бытия и взаимоотношений человека с ним.

В политической области неоязыческая специфика достаточно очевидно эксплицирована в консервативной (традиционалистской) идеологии как фундаментальной «тенденции к сохранению старых образцов, вегетативных способов жизни, признаваемых всеобщими и универсальными» [13, с. 593]. Основоположениями последней, аккумулируемыми в так называемой метаполитике<sup>2</sup>, выступают принципы традиционализма, элитарности (императив аристократии как «элиты характеров», по А. Бенуа) и социоприродного синкретизма, или органицизма.

*Транзитивный характер неоязыческих тенденций в динамике культуры.* Неоязычество следует понимать, прежде всего, в качестве инвариантной культурной формы, одновременно как чреватой болезненными потрясениями и деструктивными энергиями, так и аккумулирующей новые, созидательные смыслы и ценности. В современной ситуации тотальной проблематизации статуса уникальности и самодостаточности каких бы то ни было духовных образований не приходится утверждать исключительно исторический (в смыс-

ной) установки на биосфероцентрическую (биоморфную) свидетельствует о парадигмальном сдвиге как воспроизводстве архаических ментальных структур.

<sup>2</sup> «Метаполитика является попыткой связывать политическое и религиозное снова друг с другом, чтобы специфические ценности индоевропейского мировоззрения смогли влиять снова всесторонне на политическую сферу. Метаполитика является глубинным возвращением к политическому в культурном... Мировоззренческие и культурные споры в Европе больше не противопоставляют все больше только левых и правых, а наоборот — противопоставляют библеизм против неоязычества, космополитизм против тождества, Америку против Европы» [14].

ле кратковременный) характер этого феномена. Скорее, следует идентифицировать его как одно из проявлений глубинной и сквозной для всей культуры тенденции, противостоящей другой (и ее уравнивающей), не менее фундаментальной и сориентированной на критическое переосмысление и преодоление наличного status quo. «Архаическое сознание и архаический интеллект – это не только характеристика предшествующих этапов истории и антропогенеза человечества, но и неотъемлемый компонент интеллектоогенеза, «морфологии» современного сознания человека и общественного интеллекта. В периоды кризисов, ломки сложившихся стереотипов, архаический компонент общественного интеллекта как бы выполняет терапевтическую функцию, представляет собой мобилизацию «древних форм» освоения разнообразия бытия человеком через ассоциативно-аналоговые механизмы, метафоризацию и мифологизацию интеллекта» [15, с. 31]. Речь идет, таким образом, о специфической настроенности культурной динамики на консервацию традиции как фундаментального механизма аккумуляции, воспроизводства устоявшихся и продуцирования новационных программ жизнедеятельности. В отличие от критиканско-прогрессивной тенденции, ориентирующей культурное развитие в своем пределе на радикализацию поведенческих моделей и прерывистый характер социодинамики, обозначенная альтернатива утверждает ценность всего, апробированного и адаптированного к повседневной жизненной ситуации. Как отмечал К. Манхейм, «история все более развивается через взаимодействие таких целостных тенденций и движений, из которых одни «прогрессивны» и форсируют общественные изменения, в то время как другие «реакционны» и сдерживают их» [13, с. 598]. Следовательно, неоязычество может быть квалифицировано как одно из проявлений «сдерживающих» общественную гипердинамику тенденций.

*Система наработанных в современной гуманитаристике определений неоязычества.* Многочисленные отечественные и зарубежные исследования данного феномена и его вариаций различаются как по своим направлениям анализа, так и по используемым методологическим стратегиям. Именно в силу такой мультивекторности изучения до сих пор представляется затруднительным достаточно четко зафиксировать сущность этого явления, классифицировать его ключевые характеристики и основные закономерности функционирования. Термин «неоязычество» в современном научном обиходе употребляется и дефинируется в трех основных методологических транскрипциях – религиоведческой, политологической и куль-

турфилософской. Среди основных интерпретаций, предложенных в рамках этих дисциплинарных парадигм, на наш взгляд, наиболее аргументированы и разработаны следующие.

*Как тип религиозности* неоязычество отождествляется с одной из форм нетрадиционной и постатеистической религии. В рамках этой позиции утверждается, что нетрадиционные религии, получившие широкое распространение в последней трети XX в. в западном мире и на постсоветском пространстве, представляют собой типологическое социальное явление, многократно наблюдавшееся в истории. Их особая активность проявляется в эпохи кризиса и общественных потрясений, в переломные периоды истории, связанные с глубокими изменениями экономики и быта, политических настроений, общего мироощущения человека. То, что является на свет в «постатеистическом» обществе, какую бы религиозную окраску оно ни принимало, есть возвращение к язычеству, т. е. обожествлению природного и общественного мира. «Вера в Бога – лишь предлог для веры в божественность множества разных вещей, в диковинности и нелепости которых сектанты словно соревнуются друг с другом. Кто верит в святость крови, кто – в святость пустоты, кто – в святость пищи, стекла, песчинок... Перед нами – новое язычество, которое освящает буквально каждый предмет, не очень-то считаясь с разделением на чистое и грязное, высокое и низкое. По сути, этот «прогресс» означал бы не что иное, как историческую регрессию от марксистского к фейербаховскому атеизму, с его обожествлением земной действительности и межчеловеческого братства, по принципу «человек – человеку Бог» [16, с. 74]. В этом случае неоязычество может быть определено, например, как фундаменталистское движение, носящее редукционистско-природный, магический характер. Иными словами, распространение неоязычества свидетельствует о сложном, диалектическом изменении бытующей религиозности. При этом речь идет не просто о возрождении архаических верований, а о решении с их помощью современных задач: идейной консолидации этносов, обретении своей культурно-исторической идентичности и социально-политической независимости [17]. Так, по мнению белорусского исследователя А. В. Гурко, неоязычество можно определить как новые религии, сконструированные на основе политеистических верований в целях поиска новой этнической идентичности, и (или) для разработки новой идеологической системы [18, с. 44].

*Как фактор современной политики* неоязычество определяется как стратегия ремифологизации социального опыта в ситуации экспансии западной

культуры и тотальной вестернизации. В этом смысле неоязычество — суть один из дискурсов глобализации, характеризующийся изобретением нового вида культурного национализма, отвечающего условиям постнационализма, или этнонационализма. В условиях модернизации, которая значительно нивелирует и деэтнизирует материальную среду, национальная специфика смещается в сферу духовного. В этих обстоятельствах национализм ищет свою опору именно в духовности, и именно ею он пытается легитимизировать свои претензии во всех других сферах, прежде всего в политической, социальной и культурной [19]. Под духовностью же, как правило, понимается (хотя и ошибочно) исключительно религия. Тем самым, в поисках своей уникальной идентичности национализм, если он стремится быть последовательным, неизбежно должен порывать с мировыми религиями в пользу религии национальной. А это, в свою очередь, ведет либо к попыткам национализировать мировую религию, либо к поискам языческих корней и формированию общенациональной религии на основе язычества. В связи с чем можно утверждать, что «неоязычество — самая политизированная квазирелигия. Чем и интересна. Русское неоязычество можно определить как мифологизированную форму расовой, этнической и религиозной ксенофобии» [20].

*Как инвариантный культурный феномен* неоязычество идентифицируется с комплексом специфических новокультурных феноменов, пронизанных неоромантическими идеями мифологического характера. По мнению белорусского этнокультуролога А. Дерманта, неоязычество можно определить как тип новой духовно-мировоззренческой ориентации эпохи постмодернизма, постиндустриальной и информационной цивилизации. Поэтому «паганства можна ўважаць за пэўны тып духоўна-светагляднай арыентацыі, досыць шырокім і шматаблічным рухам, парадыгму пошуку новага кшталту свядомасці і „Вялікага Стылю“ жыцця, які быў бы адэкватны для сённяшняга ўзроўня постіндустрыяльнай і інфармацыйнай цывілізацыі, для эпохі постмадэрнасці, як імкненне да культурнай мінуўшчыны (традыцыі) ды выяўленне ў ім „пачатковага“ гуманістычнага, духоўнага светаўспрымання і светаразумення» [21]. К так понимаемому неоязычеству можно отнести, например, оформление славянских боевых искусств (в том числе, «ратоборства», как некоего идентификационного признака этого движения). Наиболее заметное лицо современного неоязыческого движения данного направления — комплекс славяно-горицкой борьбы — основано, в отличие от восточных единоборств, на другом ритме боевых

движений и ином мировоззренческом комплексе [22]. Еще одно яркое проявление тенденции — феномен военно-исторических клубов, или организаций, занимающихся реконструкцией воинских обычаев и формы различных эпох. Одним из факторов, способствующих привлечению людей к движению, стало появление русской «фэнтези» — направления популярной фантастики, своего рода сказок, но построенных на языческом мировоззрении [23]. Культурфилософская рефлексия фиксирует преимущественно «городской» характер неоязычества, поскольку оно возникло и развивается в городах, а современные язычники являются носителями именно городского менталитета. В этом смысле неоязычество — суть «общенациональная религия, искусственно создаваемая городской интеллигенцией из фрагментов древних локальных верований и обрядов с целью „возрождения национальной духовности“». Фактически же речь идет не о возрождении, а о конструировании идеологической основы для новой социально-политической общности, более соответствующей условиям модернизации» [24]. При этом своими союзниками неоязычество имеет представителей ряда городских субкультур — феминизма, экологизма, субкультуры сексуальных меньшинств. В своем мировоззренческо-функциональном аспекте современный неоязыческий миф становится, помимо прочего, одним из главных орудий антитоталитарной борьбы. Таким образом, хотя сами неоязычники стремятся возродить «традиционные языческие ценности» и с их помощью противостоять современной бездуховной массовой культуре, на самом деле «неоязыческий проект» является частью этой культуры, всего лишь одним из возможных «языков» описания реальности, и в этом смысле нет особой разницы между культурной значимостью язычества или иной религии (или идеологии). При этом политические предпочтения, религиозные верования, экологическая направленность неоязычества и т. д. являются вторичными по отношению к системе координат, заданной современной культурой [25, с. 332].

Как видим, несмотря на многочисленные и достаточно глубокие исследования обозначенной темы, проблема определения неоязычества с целью экспликации его целостной модели на концептуальном уровне остается неразрешенной. Представляется очевидным, что наиболее эффективной методологической стратегией в определении и изучении неоязычества как интегрального духовного феномена современной культуры является междисциплинарный подход в совокупности различных направлений современной гуманитаристики при доминирующей роли философской

рефлексии. Реконструкция концептуальной модели неоязычества возможна с учетом основных представленных в современном гуманитарном знании исследовательских парадигм, на основе которых может быть предложена новая версия системной интерпретации анализируемого феномена. Поэтому в оптимальном определении неоязычества необходима фиксация эксплицированных и изученных его характеристик, а именно:

– единство теоретического (духовно-мировоззренческого) и практического (ритуально-поведенческого) аспектов;

– наличие у теоретиков и методологов неоязыческого мировоззрения тенденций к фальсификации исторического материала и псевдонаучным построениям;

– многоаспектность неоязычества по мировоззренческим установкам – от собственно религиозных (псевдорелигиозных) и фольклорно-этнических до историко-культурных и общественно-политических (экологических, феминистских, политико-идеологических и др.);

– контркультурный характер неоязыческого мировоззрения;

– ангажированность неоязыческих тенденций идеологическими установками и интересами<sup>3</sup>;

– атрибутивность неоязычества как культурного феномена ситуации социальной транзитивности и глобализации<sup>4</sup>.

С учетом вышеобозначенных моментов может быть предложена следующая дефиниция неоязычества как интегрального социокультурного феномена. *Неоязычество – это теория и практика реконструкции и использования архаических (аутентичных или сфальсифицированных) мировоззренческих схем и поведенческих моделей с целью обоснования и реализации альтернативных (религиозных, фольклорно-этнических, историко-культурных, об-*

*щественно-политических) и, как правило, контркультурных программ мышления и деятельности в ситуации социокультурной транзитивности и глобализации.*

В предложенном определении, на наш взгляд, учитываются основные инвариантные параметры неоязыческих тенденций и феноменов, имеющих место в религиозной, политической, философско-теоретической, общекультурной сферах. Это, например, интенсификация их становления и динамики в условиях процессов глобализации и транзитивности, альтернативный (контркультурный) характер по отношению к доминирующему и общезначимому социокультурному мейн-стриму, одновременное функционирование как в режиме теоретического самообоснования, так и практического манифестирования в соответствующих сегментах социума и др.

Таким образом, в ситуации современного цивилизационного сдвига очевиден специфический «неоязыческий поворот» в культуре и, соответственно, возрастающий интерес к проблеме неоязычества через актуализацию вопросов реанимации архаических пластов духовности и конституирования на их основе новых ментальных феноменов, мировоззренческих схем, религиозных новообразований и идеологических концептов. При этом важность углубления исследований в данной области определяется не в последнюю очередь нарастанием социокультурной и политико-идеологической напряженности глобализирующегося мира и активизацией на этой основе различного рода религиозного и политического экстремизма, не в последнюю очередь, апеллирующего к языческим представлениям и стереотипам. Адекватное их понимание и изучение является важнейшим фактором прогнозирования динамики неоязыческих тенденций и выработки оптимальных программ по их мониторингу и возможной нейтрализации.

#### Список цитированных источников

1. Неокульты: идеология и практика / Е. С. Прокошина [и др.]. – Минск, 2005.
2. Идеология и практика славянского неоязычества. – СПб., 2000.
3. Неоязычество на просторах Евразии. – М., 2001.
4. Pelka, L., Współczesne neopaganstwo słowiańskie (rodowody – doktryna – kult) / L. Pelka // Sekty czy nowe ruchy religijne. – Tuczyn, 2005.
5. Náboženské smery na prelome tisícročí – Eschatologické vízie. Ústav pre vzťahy štátu a cirkví. – Bratislava, 2004.
6. Modern paganism in world cultures: comparative perspectives / Ed. by M. Strmiska. – Santa Barbara, 2005.
7. Религия, магия, миф: современные философские исследования / под ред. В. Н. Поруса. – М., 1997.

<sup>3</sup> Так, например, националистическое течение российского неоязычества включает религиозные и политические организации, имеющие синкретическое, квазиэтническое политеистическое мировоззрение с идеологией национализма. К первым, религиозным, например, относятся общины «Союза Славянских Общин» и «Древлеправославная церковь Инглингов», ко вторым, политическим, – организации от националистических неоязыческих партий («Партия Духовного Ведического Социализма») до отдельных группировок скинхедов [см. подробнее: 26].

<sup>4</sup> Обычно считается, что «глобализация может привести к религиозному космополитизму, а то и к формированию некой «глобальной религии», на роль которой претендовало и претендует довольно много новых религиозных движений. Но связанная с процессами глобализации унификация и стандартизация жизни, напротив, часто вызывает стремление к индивидуализации и подчеркиванию личностной и культурной уникальности» [25, с. 274].

8. *Кутузова, Н. А.* Политико-религиозные доктрины неокультов / Н. А. Кутузова // Неокульты: идеология и практика / Е. С. Прокошина [и др.]. — Минск, 2005.

9. *Neoroganstwo: nowe czasy – stare idee.* — Poznan, 2001.

10. *Шнирельман, А.* Новые религиозные движения в России 1990-х годов / А. Шнирельман, М. Штерин // Старые церкви, новые верующие. Религия в массовом сознании постсоветской России / ред. К. Каарияйнен, Д. Фурман. — М.: СПб., 2000.

11. *Савчук, В. В.* Кровь и культура / В. В. Савчук. — СПб., 1995.

12. Перспективы метафизики: классическая и неклассическая метафизика на рубеже веков / под ред. Г. Л. Тульчинского, М. С. Уварова. — СПб., 2000.

13. *Манхейм, К.* Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. — М., 1994.

14. *Кребс, П.* Борьба и стратегия новой культуры / П. Кребс // Институт стратегического анализа нарративных систем (ИСАНС) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://narratif.nagod.ru/krebs02.htm>.

15. *Субетто, А. И.* Введение в неклассическое человековедение / А. И. Субетто. — СПб.; Кострома, 2000.

16. *Шнейдер, Г.* От атеизма к язычеству / Г. Шнейдер // Дер философиише глаубе (Мюнхен). — 1987. — № 8.; То же: [http://ftp.bsru.unibel.by/pub/Entertain/texts/new\\_sects/ns.pri13.html](http://ftp.bsru.unibel.by/pub/Entertain/texts/new_sects/ns.pri13.html).

17. *Балагушкин, Е. Г.* Нетрадиционные религии в современной России. Морфологический анализ / Е. Г. Балагушкин. — М., 1999.

18. *Гурко, А. В.* Новые религии в Республике Беларусь: генезис, эволюция, последователи / А. В. Гурко. — Минск, 2006.

19. *Шнирельман, В.* Изобретение религии: неоязычество на просторах Евразии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.religio.ru/reliSOC/postsovspace/32.html>.

20. *Прибыловский, В.* Русское язычество – квазирелигия национализма и ксенофобии / В. Прибыловский // Диа-Логос. Религия и общество. — М., 1999; То же // Новости мира религий. Общество и религия. СМИ и литература о вере и конфессиях [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.religio.ru/reliSOC/27.html>.

21. *Дзермант, А.* Паганскае адраджэнне на Беларусі // Belintellectuals: Интеллектуальное сообщество Беларуси [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://old.belintellectuals.eu/discussions/?id=210>.

22. *Белов, А. К.* Славяно-горичская борьба. Изначалие / А. К. Белов. — М., 1992.

23. *Березин, В.* Фэнтэзи / В. Березин // Октябрь. — 2001. — № 6.

24. *Шнирельман, В. А.* Неоязычество и национализм (восточноевропейский ареал) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: [http://www.kolhida.ru/index.php3?path=\\_ethnography/arts/&source=05](http://www.kolhida.ru/index.php3?path=_ethnography/arts/&source=05).

25. *Рыжов, Ю. В.* Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве / Ю. В. Рыжов — М., 2006.

26. *Дорошенко, М.* Славянское неоязычество // Material-russia.ru — Новости из мира технологий [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://material-russia.ru/slavyanskoe-neoyazychestvo-marianna-doroshenko/>.

*Дата поступления в редакцию: 05.09.2009 г.*



УДК 2-1

## Становление феноменологического подхода к исследованию религии

**Н. В. Бедрицкая**, аспирант\*

*В данной статье осуществлена попытка определения дисциплинарного статуса феноменологии религии, что позволило отграничить философскую феноменологию религии от феноменологического религиоведения. Для этого рассмотрены различия их теоретических предпосылок, методологической базы и предметов исследования.*

## Formation of Phenomenological Approach in Religious Studies

**N. Bedritskaya**, Postgraduate Student

*An attempt to distinguish philosophical phenomenology of religion from phenomenological religious studies in order to clear up sense of concept „phenomenology of religion“ and detect its disciplinary status is made in the article. Distinctions in theoretical premises, methodological base and object of research are analyzed.*

Выражение «феноменология религии» является вполне устоявшимся и даже привычным. Тем не менее, частое употребление отнюдь не способствует прояснению содержания данного выражения, скорее, наоборот. Разумеется, в данной краткой статье не представляется возможным обозреть все контексты использования словосочетания «феноменология религии». Более того, в некотором смысле значимым представляется не только сужение содержания данного понятия, но также его расширение за счет включения в поле рассмотрения тех концепций и выделения тех уровней религиозно-феноменологических исследований, которые до сих пор находились вне фокуса внимания.

Речь идет о том, что феноменология религии, как правило, рассматривается как *религиоведческая дисциплина*, как раздел или метод внутри религиоведения. При этом, ввиду тех требований, которые выдвигаются религиоведением как наукой, стремящейся к подкреплению теоретических построений эмпирическим материалом, важные аспекты феноменологии религии рассматриваются как подлежащие искоренению или с самого начала остаются без внимания. Подобного редуцирования можно было бы избежать при рассмотрении феноменологии религии в качестве *философской дисциплины*. Таким образом, целью данной статьи является выявление дисциплинарного статуса феноменологии религии в контексте совре-

менного социогуманитарного знания, что, в свою очередь, призвано способствовать прояснению содержания данного понятия.

### Понятие «феноменология религии»

Автором понятия «феноменология религии» практически единогласно признается нидерландский религиовед, историк религии *П. Д. Шантепи де ла Соссе* (1848–1920), который использовал его в своей книге «Учебник истории религии» для обозначения новой дисциплины, наряду с уже сложившимися к тому моменту историей религии и философией религии. Как представляется, неопределенность дисциплинарного статуса феноменологии религии связана как раз с тем назначением, которое предписывает ей Шантепи де ла Соссе. Она должна была служить *связующим звеном* между концептуальной философией религии и эмпирически конкретной историей религии. Целью новой дисциплины должно было стать упорядочение религиозных явлений, которое способствовало бы выделению важнейших сторон собранного историком религии материала о восприятии религиозных феноменов в той или иной культуре и выступало в качестве основы для выявления инвариантного содержания религиозного опыта и универсальной структуры религиозного сознания.

Таким образом, феноменология религии изначально была обречена на некоторую двойственность собственного статуса. С одной стороны, она развивалась «с оглядкой» на конкретность, объективность и точность естественных наук, опиралась

\* Научный руководитель – кандидат философских наук, доцент И. М. Наливайко.

на эмпирию, с другой стороны, она (учитывая тесную связь с философией и значительное влияние христианской теологии) предполагала своего рода «метафизику» [1, с. 304].

#### **Полисемантическая природа понятия «феноменология религии»**

Неоднократно предпринимались попытки выделить *различные значения понятия* «феноменология религии». Большинство «типологий», однако, оставалось внутри религиоведения. Тщательное рассмотрение процесса развития данного направления позволило известному современному исследователю феноменологии религии Д. Алану утверждать [2], что среди ученых, которые используют понятие «феноменология религии», можно выделить *четыре группы* сообразно тому смыслу, который сами ученые вкладывают в данное понятие:

– первая группа использует данное понятие в весьма широком и неопределенном смысле для обозначения любого исследования феномена религии;

– второй группой исследователей (наиболее яркие представители – *Г. Винденгрэн* и *О. Хульткранц*) феноменология религии понимается как сравнительное изучение и классификация различных религиозных феноменов;

– третью группу составляют такие религиоведы как *Г. Ван дер Леу*, *Й. Вах*, *М. Элиаде*, которые под феноменологией религии, как правило, понимают определенную дисциплину, или метод, внутри религиоведения;

– четвертая группа представляет собой совокупность концепций исследователей, так или иначе связанных с предметной областью феноменологии религии, которые характеризуются, прежде всего, влиянием философской феноменологии и (христианской) теологии. В качестве наиболее значимых представителей данной группы могут быть названы *Р. Отто* и *М. Шелер*.

Значимость предложенного Аланом разграничения заключается, прежде всего, в том, что оно позволяет вести речь о существовании пласта феноменологии религии, который не входит в феноменологию религии как религиоведческую дисциплину. Кроме того, приведенное разграничение фиксирует две возможности превратного понимания феноменологии религии: некритического ее понимания, не позволяющего провести демаркационную линию между данным способом исследования религии и любым другим (первая группа), и сведения феноменологии религии, по преимуществу, к эмпирическому уровню истории религии (вторая группа).

На наш взгляд, для прояснения сути понятия «феноменология религии» представляется необходимым, прежде всего, обозначить и осмыслить существование *двух версий* данного направления, которые условно могут быть названы феноменологическим религиоведением и философской феноменологией религии. Разумеется, в действительности довольно сложно провести жесткую демаркационную линию между вышеназванными версиями. Кроме того, можно обозначить некоторые *характерные черты*, которые выступают в качестве оснований для объединения взглядов различных мыслителей в рамках направления, именуемого «феноменология религии». Таковыми являются: «признание особого религиозного чувства в качестве основания религии, феноменологическое описание» [1, с. 301], признание нередуцируемости религиозного опыта, который является исходной целостностью, доступной только верующему, а также утверждение невозможности постичь существо этого опыта исключительно рациональными, теоретическими средствами. С другой стороны, основанием для выделения указанных версий выступают имеющиеся между ними различия в теоретических предпосылках, доминирующих парадигмальных установках и принципах, используемых методах и, преимущественным образом, в предмете исследования.

#### **Теоретические предпосылки феноменологии религии**

На наиболее ранние из теоретических истоков данного направления указывает М. М. Шахнович, перечисляя имена *Н. Фреге*, *Ш. Дююи*, *Б. К. де Ребекка*, *Ш. де Бросса*, труды которых относятся к концу XVIII – началу XIX вв. Рассматривая данный период, Шахнович, однако, нигде не говорит о феноменологии религии в полном смысле слова. Более того, можно заметить, что работы указанных мыслителей содержат обширный фактический материал, поданный с использованием определенной систематизации и классификации, но отнюдь не концептуальные построения. Указанное обстоятельство позволяет назвать их «более или менее систематизирующей формой истории религии, видом межкультурного сравнения конституирующих элементов религиозной веры и практики» [1, с. 302].

В качестве теоретических истоков философской феноменологии религии следует также указать христианскую теологию, философию *И. Канта*, *Я. Ф. Фриза*, *Г. В. Ф. Гегеля*<sup>1</sup>, *Ф. Д. Э. Шлейермахера*

<sup>1</sup> Само понятие «феноменология религии» было воспринято Шантепи де ла Соссе из «Феноменологии духа».

ра, В. Дильтея. Что касается роли идей Э. Гуссерля, то часть представителей данного направления «рассматривают феноменологию религии как приложение принципов гуссерлевской философии к анализу религиозных явлений, в то время как другие отрицают свою близость к гуссерлианству» [3, с. 48].

Таким образом, следуя избранной стратегии отграничения философской феноменологии религии от феноменологического религиоведения, с определенными оговорками можно заключить, что, если феноменологическое религиоведение восходит к концу XVIII – началу XIX вв. и является тесно связанным с историей религии и сравнительным религиоведением, то философская феноменология религии опирается на идеи немецкой классической философии и неклассической философии конца XIX – начала XX вв., в том числе на учение Э. Гуссерля, в значительной мере пересматривая его с учетом специфики религиозной жизни.

#### Методологическая база феноменологии религии

Стремясь охарактеризовать феноменологию религии с точки зрения доминирующих в ней *методологических принципов*, следует отметить, что наиболее важными из них, значимыми как для феноменологического религиоведения, так и для философской феноменологии религии являлись аисторизм (антиисторизм) и – особенно – антиредукционизм. Аисторизм (антиисторизм), несмотря на тесную связь феноменологического религиоведения с историей религии, проистекает из того, что представление «об устойчивых, внеисторических, универсальных моделях религиозного сознания есть допущение феноменологического религиоведения» [4, с. 197]. Использование принципа антиредукционизма применительно к феноменологии религии означает, что религия не может быть редуцирована к другим феноменам культуры, поэтому исследователи религии должны считаться с выражающей себя в предметах исследования изначальной религиозной интенциональностью.

Посредством *принципа интенциональности* «феноменология дает возможность религии обосновать... наличие и действительность религиозных объектов и даже в определенной степени описать их» [3, с. 53–54]. Речь идет о том, что интенциональная сущность человека выражается в деятельности сознания, которое не отражает мир, но полагает его и придает ему смысл. Тезис, что без человека мир не имел бы смысла, «заставляет нас утверждать, что без человека не может быть никакого бога» [цит. по 3, с. 57]. В результате возникает образ «бога-для-меня», объясняющий возможность

Бога как реальности для индивида, реальности, которая в рамках «жизненного мира» указывает на трансцендентность, придающую смысл самому «я» человека.

Настаивая на необходимости использования «эпохе», представители феноменологического религиоведения, как правило, вкладывали в данное понятие содержание, отличное от гуссерлевского – не воздержание от всех предпосылочных суждений, но лишь от непроверенных предпосылок, а также от суждений, фундированных критическим отношением к религии вообще и к какой-либо конкретной религии в частности.

*Эйдетическое видение*, как правило, определяется в качестве центрального звена феноменологического анализа. Однако стоит согласиться с мнением А. Н. Красникова, что «никто из представителей этой дисциплины, за исключением М. Шелера и П. Рикёра, не использовал термин «эйдетическое видение в его строгом философско-феноменологическом смысле» [5, с. 89]. При этом для представителей феноменологического религиоведения характерно пренебрежение методологической критикой, в результате чего происходит практически полное исключение процесса саморефлексии, призванного раскрыть то, как пришли к выводам.

#### Предмет феноменологии религии

После выхода в свет знаменательной книги Р. Отто «Священное. Об иррациональном в идее Божественного и его соотношении с рациональным» окончательно оформился предмет феноменологии религии, а именно *священное*<sup>2</sup>. Для более глубокого понимания предмета феноменологии религии принципиально значимым является утверждение М. Шелера о двойственности священного («Божественного»): оно проявляется в природе, обществе и человеке, оно постигается в вере как то, на что направлено религиозное сознание, но оно есть абсолютно сущее, т. е. существует независимо от субъекта веры и «постигается человеком лишь постольку, поскольку человек сопричастен

<sup>2</sup> В данной статье ввиду ее пропедевтического характера понятия «священное» и «святое» употребляются в качестве синонимичных. Хотя различия в содержании перечисленных понятий, разумеется, существуют. Можно согласиться с точкой зрения переводчика книги Р. Отто, который свой выбор в пользу «священного» в противовес «святому» объясняет следующим образом: «Можно привести ряд аргументов в пользу как «святого», так и «священного». Мой выбор, в конечном счете, определяется тем, что труд Отто обращен ко всем возможным религиям мира, включая самые ранние стадии религиозного опыта, тогда как опыт «святого» ограничивается небольшим числом конфессий» [6, с. 269].

Богу и изначально несет в себе элементы Божественного» [Цит. по 5, с. 81]. Таким образом, Бог как объект веры оказывается одновременно и имманентен, и трансцендентен религиозному сознанию [3, с. 55].

М. Хайдеггер, религиозно-феноменологические идеи которого пока находятся вне поля зрения современных исследователей феноменологии религии, представил весьма своеобразное понимание Священного, которое одновременно проблематизировало восприятие человеком сути собственного существования. Внимания заслуживают как ранние лекции немецкого философа, в которых он занят разработкой феноменологической методологии, адекватной анализу религиозной жизни, так и поздние работы, в которых заимствованное у И. Х. Ф. Гёльдерлина различие Бога и Священного приводит Хайдеггера к экхартовскому различению Бога и Божественности. При этом наиболее значимым представляется убеждение мыслителя в том, что закрытость сферы Божественного для современного человека связана с постановкой вопроса о Боге как о «что», с тематизацией его как сущего среди сущего и с осмыслением человека в духе гуманизма как сущего, чья сущность всегда уже заранее известна.

На сегодняшний момент вокруг понятия «священное» ведутся оживленные дискуссии. С одной стороны, многие современные исследователи отмечают, что содержательное наполнение выделенной Р. Отто категории святости едва ли может быть общим для всех религиозных традиций или даже для всех конфессий внутри христианства. Более того, по мнению А. П. Забияко, «в истории не существовало единой для всех религий категории религиозного сознания» [4, с. 198], так как «фактически каждая категория религиозного сознания представляет по структуре своих значений свернутую мифологему или идеологему той религии, в контексте которой категория выработана» [4, с. 39]. С другой стороны, можно согласиться с В. Гантке в том, что «понятие Священного имеет значение для признания религиозного измерения в человеке и обществе. Стало быть, речь идет не о специфическом и культурно обусловленном значении этого «западного» понятия, но о том, что опыт Священного сегодня все еще переживается как раз людьми из не-западных культур...» [7, с. 5].

Следует особо подчеркнуть, что, несмотря на то, что «священное» может быть оценено в качестве предмета и феноменологического религиоведения, и философской феноменологии религии, при более внимательном рассмотрении указанных версий очевидным становится определенное *различие* именно в предмете изучения. В рамках фе-

номенологического религиоведения особое внимание, как правило, уделяется представлениям о Священном в определенной религиозной традиции, в конкретной культуре, а также развитию этих представлений в процессе становления человечества, так как именно на основании их сравнения и классификации должны быть обнаружены универсальные и инвариантные структуры религиозного опыта. Предметом исследования для представителей философской феноменологии религии является, прежде всего, онтологическая связь человека со священным, и осмысление специфики человеческого существования, являющейся следствием этой связи.

В результате можно согласиться, что представители философской феноменологии религии в ряде вопросов склонны к сближению с экзистенциализмом и философской антропологией, так как для них Бог как имманентно-трансцендентный есть выражение «экзистенциальной заботы» человека: «религиозный человек не «констатирует» и не «описывает» что-то «относительно» бога, когда называет его по имени, а дает выход своему собственному существованию» [Цит. по 3, с. 63].

По мнению Р. Отто, основное значение нуминозного опыта состоит в изменении восприятия человеком самого себя, ибо «встреча с *numen*’ом как сверхценностью оборачивается для человека ситуацией опознания ничтожности своего собственного бытия», при этом указанное чувство «возникает спонтанно, почти как «инстинкт самоумаления», как «рефлекторное движение души» [6, с. 92]. М. Шелер дополняет, что «данная в чувстве абсолютность этой ценности... заставляет нас чувствовать уже саму мысль об отказе от нее в пользу других ценностей как «возможную вину» и «падение» с уже достигнутой высоты нашего ценностного существования» [8, с. 318]. Представители философской феноменологии религии особое место отводят интерпретации священного как «последней реальности», открывающейся исключительно в опыте встречи (опыте вызова и ответа, который дает *целостная* экзистенция) [9, с. 47–48]. Родом «ответа» на опыт встречи со «священным бытием» выступает «онтологическая одержимость человека», «жажда священного» и «ностальгия по бытию» [10, с. 47] вплоть до мистического желания единения, слияния с этим священным бытием. Таким образом, выявленные различия в теоретических истоках, доминирующих парадигмальных установках и принципах, используемых методах и, преимущественным образом, в предмете исследования, позволяют обосновать необходимость рассмотрения феноменологии религии не только (и не столько) в ряду ре-

лигиведческих дисциплин, сколько дисциплин философских.

В поле интереса философской феноменологии религии находится опыт встречи человеческой экзистенции с целостным бытием, с «последней реальностью», встречи, которая делает явным существование границы между священной сферой и сферой профанной, т. е. областью мирского, человеческого, повседневного, конечного существования. При этом исследователи пытаются охарактеризовать священный объект, но основное внимание сосредотачивают на осмыслении «человеческой составляющей»: во-первых, структуры и сущности религиозного акта (М. Шелер), во-вторых, смысла и значения «ответа», реализуемого целостной человеческой экзистенцией на опыт встречи с тем, что является сверхценностью, абсолютной ценностью, абсолютным бытием. Наиболее ценной является тематизация вопроса о взаимоотношении Священного (Божественного, Бога) и человеческого, об их одновременной инаковости (священное как «совершенно иное») и сопричастности и даже соприродности (Бог как человеческое Другое), осознание которых закрыто для современного человека.

При рассмотрении феноменологии религии именно в качестве философской дисциплины утрачивают свою актуальность упреки, выдвигаемые в ее адрес (несопоставимость обобщений с конкретными религиозными явлениями, невозможность научного обоснования, отсутствие рефлексии в отношении используемых методов [5] и т. п.). Но возникает иной вопрос – о философско-антропологических основаниях феноменологии религии, о традиции, определившей ее глубинное содержание.

### Список цитируемых источников

1. *Шахнович, М. М.* Феноменологическое религиоведение: история и метод / М. М. Шахнович // *Miscellanea humanitaria philosophiae*. Очерки по философии и культуре. – СПб.: С.-Петерб. филос. об-во, 2001. – С. 301–308.
2. Chancen und Grenzen der Religionsphänomenologie: Seminar für Religionwissenschaft [Electronic resource]. – Mode of access: [http://www.rewi.uni-hannover.de/OT\\_Sys\\_RP.html](http://www.rewi.uni-hannover.de/OT_Sys_RP.html).
3. Современная буржуазная философия и религия / под ред. А. С. Богомолова. – М.: Политиздат, 1977. – 376 с.
4. *Забияко, А. П.* Категория святости. Сравнительное исследование лингворелигиозных традиций / А. П. Забияко. – М.: Изд. дом «Московский учебник-2000», 1998. – 205 с.
5. *Красников, А. Н.* Методология классической феноменологии религии / А. Н. Красников // *Вестн. Моск. ун-та.* – Сер. 7, Философия. – 2004. – № 1. – С. 74–97.
6. *Отто, Р.* Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным / Р. Отто; пер. с нем. А. М. Руткевич. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2008. – 272 с.
7. *Gantke, W.* Der umstrittene Begriff des Heiligen. Eine problemorientierte religionswissenschaftliche Untersuchung / W. Gantke // *Religionswissenschaftliche Reihe.* – 1998. – Bd. 10. – 468 S.
8. *Шелер, М.* Формализм в этике и материальная этика ценностей / М. Шелер // *Избр. произв., пер. с нем.; сост., предисл. А. В. Денежкина; послесл. Л. А. Чухиной.* – М.: Гнозис, 1994. – С. 259–337.
9. *Пылаев, М. А.* Западная феноменология религии: теоретико-методологические основания и перспективы построения религиоведения как науки о святом / М. А. Пылаев. – М.: РГГУ, 2006. – 95 с.
10. *Забияко, А. П.* Сакральное как категория феноменологии религии М. Элиаде / А. П. Забияко // *Вестн. АмГУ.* – 2000. – № 10. – С. 46–48.

*Дата поступления в редакцию: 25.03.2009 г.*

# СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- *Социолого-статистические исследования в отечественной науке (60–80-е гг. XX в.): специфические черты и методические особенности*
- *Образование как социальный институт: теоретико-методологические проблемы изучения*
- *Профориентация и отбор сотрудников правоохранительных органов*

---

УДК 316:303.7(043.3)

## Социолого-статистические исследования в отечественной науке (60–80-е гг. XX в.): специфические черты и методические особенности

**Е. А. Кечина**, доктор социологических наук, профессор

*В статье рассматривается история и методология социолого-статистических исследований, определяются их основные методические особенности и специфика системы показателей.*

## Sociological-statistical Researches in the Native Science (60–80 years XX c.): Methodic-Information Analysis

**E. Kechina**, Doctor of Sociology, Professor

*The author examines particularities of the combination of sociological and statistician methods at the process of the sociological-statistical research, role and functions of sociological statistician data in these researches.*

В 60–80-е гг. XX в. в СССР социологами и статистиками был осуществлен ряд крупных исследований, которые сами исследователи назвали социолого-статистическими (или статистико-социологическими) (Т. И. Заславская, В. Г. Кряжев, М. В. Курман, Л. Е. Минц, В. Д. Миркин, Л. А. Оников, Н. М. Римашевская, Р. И. Сифман, Б. Я. Смулевич и др.). Именно этот период можно считать периодом развития и становления методологии социолого-статистических исследований, которые, во-первых, заложили теоретико-методологическую основу для развития систем социолого-статистического мониторинга в настоящее время, во-вторых, позволили осуществить практическую апробацию этой методологии. Вместе с тем, теоретические и прикладные аспекты таких исследований еще не изучены столь подробно, как методология и методика социологических и статистических исследований по отдельности, хотя изучение теории и исследовательской практики в указанной области дает широкие возможности выработки теоретических и практических оснований для эффективного взаимодействия информационных ресурсов социологии и статистики в социальных исследованиях, стимулирует разработку исследовательских стратегий в русле интеграции

социологической и статистической методике и информации. Рассмотрим подробнее, на примерах конкретных исследований, методологию и методику таких исследований 60–80-х гг. XX в. и определим сущность, основные черты и методико-информационную специфику исследований социолого-статистического характера.

В 1971 г. была опубликована монография статистика М. В. Курмана «*Движение рабочих кадров промышленного предприятия (Статистико-социологическое исследование)*». Работа представляла собой результаты крупномасштабного исследования, проводившегося в период с 1965 по 1969 г. в городах Донецко-Приднепровского экономического района Украинской ССР. Целью исследования было выявить, в какой мере наличные трудовые ресурсы городов указанного региона количественно и качественно обеспечивают потребности предприятий в этих городах; установить соотношение различных источников формирования кадров предприятий на фоне существовавшей в регионе демографической ситуации. В процессе реализации исследования изучались как данные статистики (о рабочей силе и использовании рабочего времени, демографические), так и мнения рабочих по различным аспектам их трудовой дея-

тельности. М. В. Курман по этому поводу отмечал: «Изучив и критически оценив накопленный опыт, мы разработали следующие основные принципы организации обследования. Исходя из положения, что текучесть вызывается как причинами, отражающими недостатки в работе предприятия, так и субъективными мотивами отдельных рабочих, мы пришли к выводу, что обследование движения кадров должно сочетать в себе принципы статистического и социологического обследований» [1, с. 16]. Таким образом, *важнейшей предпосылкой того, что исследование приобретало интегральный, статистико-социологический характер, являлась, прежде всего, необходимость совместного анализа объективных и субъективных сторон изучаемого явления.* В данном конкретном случае социологическая составляющая исследования вводилась статистиками, которые увидели *недостаточность ресурсов социально-экономической статистики* как в информационном, так и в методическом аспекте, для изучения и понимания такого многогранного по своим причинам и факторам явления как текучесть кадров: «Огромный накопленный отечественный и зарубежный опыт показал, что ограничение одними лишь отчетными данными не обеспечивает раскрытия сути процессов текучести. В частности, прямые данные отделов кадров предприятий, согласно которым 70–80 % выбывших увольняется по собственному желанию, не могут объяснить действительных причин и мотивов текучести рабочих кадров» [1, с. 17]. Далее М. В. Курман проводил с помощью анализа данных статистики «анализ объективной стороны процесса», а субъективную сторону процесса текучести кадров анализировал с помощью данных социологического опроса, при этом замечая, что «...ни одна из указанных двух сторон в отдельности не может до конца объяснить существо дела» [1, с. 98]. Это исследование весьма интересно как одно из первых социальных исследований, носящих *комплексный статистико-социологический характер и отражающих те изменения, которые происходят в исследовательской форме взаимодействия социологии и статистики в 60–70-е гг. XX в. в СССР.*

В 1973 г. вышел сборник «Ученые записки по статистике», который был посвящен проблемам изучения миграции населения. Особый интерес для нас в этом издании в контексте изучения становления социолого-статистических исследований представляют две работы, посвященные вопросам изучения миграции, — это работа статистика В. Д. Миркина «*Опыт статистико-социологического обследования миграции сельского населения и ее факторов*» и работа социолога Т. И. Заслав-

ской «*Методологические проблемы изучения миграции сельского населения*». В. Д. Миркин так формулировал основную задачу исследования: «Задача оптимизации миграционных процессов выдвигает необходимость детального изучения не только количественных параметров миграции, но и регулирующих ее социально-экономических, культурных и социально-психологических факторов» [2, с. 165]. В. Д. Миркин определял такое исследование как «*статистико-социологическое обследование*», которое должно дать «*взаимосвязанные статистические и социологические данные*». Такое понимание характера исследования является весьма важным, так как подчеркивает его интеграционную, в смысле взаимодействия статистики и социологии, сущность. Статистические данные использовались в рассматриваемом исследовании для решения следующих задач: характеристика динамики и направления миграционных потоков из сельских населенных пунктов; характеристика социально-демографического состава мигрантов из села в город, из города в село и из села в село. Социологические индикаторы позволяли проанализировать влияние условий труда и социальной мобильности на размеры и интенсивность миграции, влияние социально-психологических факторов на миграционные настроения, степень реализации личных планов у мигрантов из сельской местности и др. Для реализации задач исследования помимо сбора статистических данных был проведен анкетный опрос мигрантов. Интересно и то, что в исследовании принимали участие как статистические органы, так и социологическая служба. По этому поводу В. Г. Миркин писал: «Организация такого обследования невозможна без творческого содружества органов государственной статистики и научного учреждения, специально занимающегося изучением проблем сельской миграции. Статистические органы имеют возможность организовать массовое и репрезентативное выборочное обследование, обеспечить контроль качества собранных материалов и их увязку с данными текущего учета, а научное учреждение — разработать научную гипотезу, социологическую часть обследования, дать математическое обоснование схемы отбора» [2, с. 166].

В работе Т. И. Заславской «*Методологические проблемы изучения миграции сельского населения*» особое внимание уделялось методологии изучения миграции, а именно принципам разработки программы такого исследования. Важнейшим из них являлось *сочетание статистических и социологических данных при реализации исследования*: «Исследуемый инструментарий должен давать возможность анализировать миграцию не только

с точки зрения механизма принятия и реализации решения индивидами и социальными группами, но и с позиций общих закономерностей социального процесса. Если первой задаче отвечает форма социологического опроса населения, то второй — сбор массовых статистических данных, характеризующих общую картину условий труда и жизни населения, а также количественные параметры миграции. Это предполагает *статистико-социологический* (выделено нами. — Е. К.) характер исследования сельской миграции» [3, с. 162]. Как видим, и здесь, как и у В. Г. Миркина, исследование имеет более широкий предмет, а соответственно, и методiku, чем только статистическое или только социологическое исследование.

Важным является и то, что на статистико-социологический характер исследования указывают как представители статистической науки, так и социологи, т. е. мы наблюдаем *двусторонний процесс взаимодействия социологии и статистики*. Такая ситуация, безусловно, имеет своими истоками новые формирующиеся информационные потребности общества — данные статистики и данные социологии уже интересны не только сами по себе, а в сочетании и во взаимосвязи. Изучаемые социальные явления имеют многообразные проявления и последствия — оценка всего этого и требует сочетания информационных ресурсов социологии и статистики. Однако заметим, что введение в научный оборот терминов «социолого-статистическое» или «статистико-социологическое» исследование отражает, скорее, только специфику методов этого исследования. Массивы же получаемой информации, как статистической, так и социологической, еще существуют даже в рамках одного исследования как бы «параллельно» и служат для решения своих непересекающихся задач, которые в совокупности и образуют задачи исследования. Поэтому в этот период можно говорить о социолого-статистических или статистико-социологических исследованиях, но еще не о социолого-статистической информации.

Социолого-статистическая информация начинает формироваться в процессе некоторых крупномасштабных исследований 70–80-х гг. XX в. Ярким примером таких социолого-статистических исследований являются исследования «Таганрог-I» и «Таганрог-II», проведенные под руководством Н. М. Римашевской [4; 5]. Исследование «Таганрог-I» было осуществлено в 1967–1968 гг., а исследование «Таганрог-II» — в 1977–1983 гг. в г. Таганроге. Оба исследования были посвящены изучению социально-экономических проблем народного благосостояния. В качестве объекта изучения выступало население г. Таганрога. Иссле-

дование «Таганрог-I» «позволило выявить экзо- и эндогенные факторы, воздействующие на уровень народного благосостояния, оценить силу и направленность их влияния, определить возможность и разработать методы управления процессами, происходящими в сферах распределения и потребления» [4, с. 4]. Второе исследование было проведено по сопоставимой программе с целью «глубже и рельефнее раскрыть тенденции развития исследуемых процессов, более обоснованно определять пути их целенаправленного регулирования» [4, с. 4]. При этом второе исследование проводилось по более широкому кругу вопросов и было обновлено как методологически, так и методически. Остановимся поэтому более подробно на методологии и методике второго исследования с целью анализа его социолого-статистического характера.

В качестве предмета исследования «Таганрог-II» рассматривается такой сложный социальный феномен как «народное благосостояние». В состав ключевых понятий исследования входили такие категории, как «образ жизни», «уровень жизни», «качество жизни» и многие другие. Таким образом, *сложность и многогранность предмета исследования, по сути, и определили систему индикаторов исследования*. Разработчики исследования отмечали: «В силу многоплановости понятия «народное благосостояние», оно не может быть представлено не только одним показателем, но даже одной группой показателей, и чем более интенсивным становится движение научно-технического прогресса с его социально-экономическими последствиями... тем шире раздвигаются границы понятия благосостояния» [4, с. 11]. Именно поэтому, с целью изучения предмета исследования с разных сторон, этот исследовательский проект представлял собой совокупность следующих подпроектов: «Уровень жизни и социально-экономические проблемы благосостояния», «Структура и развитие семьи», «Спрос и предложение», «Образ жизни городского населения: типология и факторы», «Здоровье». Весьма интересным является то, что авторы исследования определяют его как «комплексное социологическое исследование», при этом отмечая две его важнейшие характеристики: *прогнозную ориентацию и углубленное видение системных характеристик объекта исследования*. По этому поводу они пишут: «Комплексность, целостное, всестороннее изучение действительности традиционно присущи социологическому анализу. Но если еще не так давно комплексность исследования понималась как глубокое и всестороннее изучение социальных явлений в более или менее четко очерченных границах различных отраслевых направлений (труда, быта,



семьи и т. д.), то сегодня комплексное — это прежде всего междисциплинарное исследование, в котором в рамках единой теоретической программы, для решения общих задач объединены усилия экономистов, социологов, демографов, математиков и других ученых» [4, с. 16]. Отметим также, что, по мнению авторов исследования, *комплексное исследование является многоцелевым*. Анализ методологии и методики исследования «Таганрог-II» позволяет сделать вывод о том, что это исследование является именно социолого-статистическим. Чтобы ясно определить социолого-статистический характер исследования, проанализируем источники получения информации по основным подпроектам исследования. Проанализировав методологию и методику исследования, мы сгруппировали данные об источниках информации по каждому подпроекту и отдельным разделам подпроектов в табл. 1 [4].

Таким образом, эмпирической базой рассматриваемого исследования во всех его подпроектах выступает совокупность данных социологических исследований (опросов населения, опросов семей, наблюдения) и данных статистики. При этом надо отметить, что необходимость сочетания социологических и статистических данных вызвана, прежде всего, потребностью в изучении объективных и субъективных сторон объекта исследования в комплексе и в сравнении. Не останавливаясь подробно на методологии и методике остальных подпроектов, которые полно изложены в работе «Народное благосостояние: методология и методика исследования» (1988), отметим оригинальные методики сбора статистической информации, которые были применены в исследовании «Таганрог-II» и могут быть эффективно использованы в социологическом исследовании и в настоящее время.

Во-первых, это использование *метода моментных наблюдений* в процессе сбора данных о расходах семей. Особенностью бюджетных статистических обследований является то, что сбор данных в них проводится в течение длительного периода, как правило, года. Однако для исследования «Таганрог-II» такой объем статистического наблюдения был слишком большим, поэтому было решено использовать новую, экспериментальную методику сбора данных о расходах семей по приобретению товаров и услуг. Путем предварительного анализа данных о расходах семей по материалам бюджетной статистики предыдущих лет было установлено, что частота приобретения разных видов товаров также различна: в тот период основная масса продовольственных товаров (около 70 %) приобреталась раз в неделю; сравнительно

недорогие и достаточно быстро используемые непродовольственные товары (60 %) приобретались 3–4 раза в год, более дорогие (40 %) товары длительного пользования покупались не чаще одного раза в год или в несколько лет. Основные услуги, кроме городского транспорта, приобретались в среднем один-два раза в месяц [4, с. 150]. На основании такой классификации товаров и услуг по частоте приобретения были установлены конкретные сроки бюджетных обследований по каждой группе товаров. Так, для продовольственных товаров был предусмотрен не годовой, как раньше, а только недельный период регистрации; для услуг — месячный период и т. д. Таким образом, была усовершенствована система сбора данных бюджетной статистики, уменьшен объем регистрируемых данных, снижена нагрузка на респондента и интервьюера, разгружен инструментарий и уменьшен период получения данных. Уменьшение периода сбора статистических данных позволяет *нам рассматривать исследование методом моментных наблюдений как оперативное статистическое исследование*. Эта оперативность позволяет, на наш взгляд, эффективно применять статистические методы сбора данных в оперативном социологическом исследовании, что расширяет информационную базу и возможности такого исследования. В такой ситуации можно даже говорить о перспективах возникновения *оперативного социолого-статистического исследования*. *Метод моментных наблюдений, на наш взгляд, также может найти широкое применение в социологических исследованиях*, изучающих вопросы расходов и доходов. Предварительный анализ частоты расходов на товары и услуги дает возможность включения соответствующих вопросов в инструментарий социологического исследования с целью конкретизации и более глубокого объяснения материалов бюджетной статистики. Например, сбора сведений о недельном потреблении продуктов питания достаточно для проведения совместного анализа статистических и социологических данных и корреляции их с другими признаками респондента. Таким образом, *анализ оригинальных подходов к статистической методике может определенным образом совершенствовать и методику социологического исследования*.

Вторым интересным методом сбора статистических данных стал *опрос (интервью) экспертов* в подпроекте «Спрос и предложение». В ходе бесед-интервью с экспертами получали сведения, базирующиеся на материалах текущей статистической отчетности по интересующей исследователя теме. Поэтому авторы исследования отнесли данные этого экспертного опроса не к социологическим

Таблица 1 – Структура источников информации исследования «Таганрог-II»

Разделы подпроектов	Источники информации
<b>Подпроект «Уровень жизни и социально-экономические проблемы благосостояния»</b>	
1. Доходы населения	1. Предварительный качественный анализ распределения семей по уровню доходов и факторов, влияющих на это распределение (на основе данных статистики) 2. Выборочное обследование семей города (2000 семей)
2. Труд, оплата труда и благосостояние	1. Опрос рабочих двух машиностроительных предприятий города (1000 человек – по 500 на каждом предприятии) 2. Статистические данные предприятий о производственной деятельности и заработной плате отдельных работников 3. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 4. Опрос семей рабочих двух машиностроительных заводов (1000 семей)
3. Общественные фонды потребления	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 2. Статистические данные о состоянии материально-технической базы сферы обслуживания
4. Обеспечение престарелых	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 2. Материалы Всесоюзной переписи населения 1979 г. 3. Данные текущего учета численности и состава пенсий в отделах социального обеспечения города (текущая статистика социального обеспечения)
5. Потребление материальных благ и услуг	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) (методом моментных наблюдений)
6. Жилищные условия населения и обеспеченность домашним имуществом	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 2. Данные городской статистики о размере и составе жилищного фонда
7. Денежные сбережения населения	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 2. Статистические данные сберегательных касс о сбережениях населения
8. Государственное страхование	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 2. Статистические данные учреждений государственного страхования
<b>Подпроект «Структура и развитие семьи»</b>	
1. Социально-демографическая структура семей в статике и динамике	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей) 2. Статистические данные городского учета населения о численности, структуре, жилищных условиях семей
2. Развитие семьи в процессе ее жизнедеятельности	1. Выборочное обследование супружеских пар с детьми и длительностью брака 5–25 лет (750 супружеских пар)
<b>Подпроект «Спрос и предложение»</b>	
	1. Выборочное обследование семей города (опрос взрослого населения старше 18 лет) (2000 семей)
	2. Опрос покупателей в розничных торговых предприятиях (1950 человек в магазинах продовольственных товаров, 1900 – в магазинах непродовольственных товаров)
	3. Статистические данные статистических органов и торговых организаций, розничной торговой сети города
	4. Экспертный опрос (получение статистической информации)
	5. Наблюдение за потоками покупателей
<b>Подпроект «Образ жизни городского населения: типология и факторы»</b>	
	1. Опросы (2) населения города (1800 чел.)
	2. Материалы Всесоюзной переписи населения 1979 г.
	3. Статистические данные о деятельности учреждений культуры и искусства города («Союзпечати», киносети, книготорговли, библиотек, музеев, театров и др.)
<b>Подпроект «Здоровье»</b>	
	1. Выборочное обследование семей города (2000 семей)
	2. Анализ медицинских карт лечебно-профилактических учреждений по вопросам текущей заболеваемости респондентов
	3. Карты специально проведенных медицинских осмотров респондентов

данным, а к статистическим материалам. Мы видим *широкие возможности использования такого метода получения статистической информации именно в социологическом исследовании*. Получение данных статистики от квалифицированного эксперта, во-первых, экономит время социолога по поиску этих данных; во-вторых, дает возможности использовать знания и опыт специалиста-статистика в интерпретации данных; в-третьих, дает возможность получения данных статистики, не представленных в регулярных публикациях, т. е. увеличивает возможности доступа к нужной статистической информации.

Третьим методом получения информации стал *анализ оперативной (текущей) статистики*. Оперативная (текущая) статистика использовалась при реализации исследований почти во всех подпроектах. Для примера рассмотрим исследования подпроекта «Здоровье», результатом которого стали интегральные оценки здоровья населения, полученные на основе совместного анализа социологических и статистических данных. В этом подпроекте сбор данных осуществлялся с помощью сочетания различных методов сбора информации следующим образом:

- 1) выборочное обследование семей (опрос) — субъективные оценки здоровья;
- 2) получение сведений из медицинских карт респондентов, имеющихся в районных поликлиниках, и составление по ним для каждого участника опроса «Листа регистрации заболеваний» (анализ оперативной статистики);
- 3) составление «Карты медицинского осмотра» по результатам специально организованного медосмотра респондентов — объективные оценки здоровья.

По этим данным получали интегральную (совмещенную) оценку здоровья респондентов, сопоставляя по определенной методике субъективные оценки респондентами своего здоровья (по данным опроса) и объективные оценки (по данным оперативной медицинской статистики) [4, с. 184]. Такой подход обеспечил высокий уровень полноты полученных данных и достоверности результатов исследования. Таким образом, *анализ оперативной статистики обогащает эмпирическую базу социологического исследования*.

Итак, *методический арсенал социологического исследования можно расширить за счет применения таких методик статистического исследования*, как:

- метод моментных наблюдений;
- сбор статистической информации методом экспертного опроса;
- проведение анализа данных оперативной статистики.

Помимо методических аспектов рассмотренного исследования, отметим следующее методологическое положение его авторов: «Опыт показывает, что важнейшим условием обеспечения сопоставимости данных и их использования для социального прогноза является изначальная подготовка социологического исследования именно как повторного. При разработке программы следует считаться с динамикой объекта и учитывать данные статистики и изменение экономических характеристик объекта исследования. Такой анализ позволяет в определенной мере предусмотреть те изменения, которые могут произойти в объекте исследования под воздействием планируемых мероприятий и факторов социально-экономического развития с тем, чтобы уже на стадии проектирования повторного исследования оценить степень стабильности тех или иных характеристик объекта» [4, с. 108]. Мы рассматриваем это как предпосылку возникновения систем социолого-статистических показателей, которые впоследствии, начиная с 90-х гг. XX в., станут основой для мониторинговых исследований социальных явлений. В исследовании «Таганрог-II» затрагиваются вопросы сотрудничества социологических служб и органов статистики. Так, например, авторы исследования видят перспективу в организации полевых работ на базе органов государственной статистики, считая, что это способствовало бы формированию на местах единой сети анкетеров и интервьюеров. «На этой основе открылась бы реальная возможность учета и контроля социологических работ, ведущихся в территориальном разрезе, их координации, более полного и комплексного использования результатов» [4, с. 107].

Итак, в процессе реализации социолого-статистических исследований 60–80-х гг.:

- происходило формирование локальных систем социологических и статистических показателей в рамках отдельных исследований;
- системы индикаторов изучаемого объекта в социолого-статистическом исследовании объединяли социологические и статистические показатели, характеризующие существенные стороны объекта исследования и обладающие высокой значимостью в процессе анализа результатов исследования;
- методический арсенал социологического исследования дополнялся методиками статистического исследования (метод моментных наблюдений, сбор статистической информации методом экспертного опроса; анализ данных оперативной статистики), а статистического — методиками социологического исследования.

Исходя из проведенного анализа методологии и методики рассмотренных нами исследований *определим социолого-статистическое исследование как исследование, в котором социологические и статистические показатели:*

- одинаково значимы и необходимы для достижения целей и решения задач исследования;
- применяются для характеристики существенных сторон объекта исследования и образуют систему индикаторов изучаемого объекта;
- равнозначны в процессе анализа результатов исследования.

Определим специфические черты исследования социолого-статистического характера:

- многоцелевой характер исследования;
- углубленное видение системных характеристик объекта исследования;
- комплексный анализ объективных и субъективных сторон изучаемого явления;
- сочетание социологических и статистических методов сбора данных;
- совместный анализ социологической и статистической информации и получение интегральных (совмещенных) оценок на основе этого анализа;
- построение системы социолого-статистических индикаторов исследования (для проведения повторных исследований);
- прогнозная ориентация;

- организационное сотрудничество социологических служб и статистических органов в рамках общих исследовательских проектов.

Таким образом, отечественные социолого-статистические исследования 60–80-х гг. XX в. можно рассматривать как специфическую форму исследований, являющихся результатом взаимодействия социологии и статистики в процессе социальных исследований.

#### Список цитированных источников

1. Курман, М. В. Движение рабочих кадров промышленного предприятия: стат.-социол. исслед. / М. В. Курман. – М.: Статистика, 1971. – 152 с.
2. Миркин, В. Д. Опыт статистико-социологического обследования миграции сельского населения и ее факторов / В. Д. Миркин // Учен. зап. по статистике. – М., 1973. – Т. 21 (спец.): Статистика миграции населения. – С. 164–196.
3. Заславская, Т. И. Методологические проблемы изучения миграции сельского населения / Т. И. Заславская // Учен. зап. по статистике. – М., 1973. – Т. 21 (спец.): Статистика миграции населения. – С. 138–164.
4. Народное благосостояние: методология и методика исследования / Н. М. Римашевская [и др.]; АН СССР, Центр. экон.-мат. ин-т; отв. ред. Н. М. Римашевская, Л. А. Оников. – М.: Наука, 1988. – 302 с.
5. Народное благосостояние: тенденции и перспективы / Е. М. Авраамова [и др.]; АН СССР, Госком труд СССР, Ин-т соц.-экон. проблем народонаселения; отв. ред. Н. М. Римашевская, Л. А. Оников. – М.: Наука, 1991. – 253 с.

*Дата поступления в редакцию: 25.02.2010 г.*

УДК 37.013.78:001

## Образование как социальный институт: теоретико-методологические проблемы изучения

**А. И. Вороненко**, аспирант\*

*В статье анализируются основные подходы к трактовке категории «образование», теоретико-методологические проблемы социологии образования. Рассматривается предмет социологии образования, роль и значение образования в современном обществе. Характеризуется современное состояние социологии образования в Республике Беларусь.*

## Education as a social institute: theoretical and methodological problems of studying

**A. Voronenko**, Postgraduate Student

*The article is devoted to the analysis of the basic approaches to studying of the category „education“, theoretical and methodological issues of sociology of education. The author describes the subject of sociology of education, the role and meaning of education in contemporary society. The author characterizes the modern positions of the sociology of education in Belarus. Education as a social institute: theoretical and methodological problems of studying.*

Образование — один из наиболее древних социальных институтов, существование которого обусловлено потребностями общества производить и передавать знания, умения, навыки, готовить новые поколения к самостоятельной жизни, обучать субъектов социального действия эффективным способам решения экономических, политических, социокультурных проблем. Институционализация образования пришлась на эпоху перехода от первобытнообщинного строя к социально дифференцированному обществу. Несмотря на то что древние цивилизации существовали, как правило, обособленно друг от друга, они руководствовались общими основами в сфере образования человека.

В современном мире образование — сложное и многогранное общественное явление, сфера передачи, освоения и переработки знаний и социального опыта. Образование интегрирует различные виды и содержание учебной и воспитательной деятельности в единую социальную систему, ориентирует их на социальный заказ и потребности общества. Развитие самого общества, состояние его культуры и духовности, темпы экономического, научно-технического, социального прогресса зависят от качества и уровня образования.

Термин «образование» содержит ряд значений и получает множественные толкования, даже если не рассматривать образование в самом широком смысле как создание чего-либо. Образование может трактоваться как:

1) процесс передачи от поколения к поколению знания всех тех духовных богатств, которые выработало человечество;

2) результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков;

3) совокупность знаний, полученных в результате систематического обучения;

4) функция социума, обеспечивающая воспроизводство и развитие самого общества, и одновременно функция граждан по отношению к своему собственному развитию;

5) фактор социализации личности;

6) сложная иерархическая система, включающая в себя различные уровни;

7) значимая социальная и индивидуальная ценность, культурный капитал;

8) грамотность; обеспечение равных исходных прав и возможностей всем группам и стратам в обществе и т. д. [1].

Существующие разночтения в подходах к определению образования и его ключевых характеристик связаны с тем, что феномен образования является предметом анализа различных областей научного знания. Образование является объектом и предметом изучения педагогики, психологии, философии, социологии, истории, экономики, культурологии, этики и т. д. Суть подходов этих наук проанализирована и представлена в научной литературе [2, с. 21–28]. В качестве же объекта и предмета социологического анализа образование исследуется в первую очередь с точки зрения его институциональных характеристик. «Традиционно, — отмечает Л. А. Микешина, — образование

\* Научный руководитель — доктор социологических наук, профессор А. В. Рубанов.

понимается как овладение прежде всего интеллектуальными аналитическими знаниями». Сам образовательный процесс осуществляется «как накопление индивидом специальных знаний из различных областей, определяемых институционально» [3, с. 37]. «Система образования, — констатирует российский социолог Ф. Э. Шереги, — является базисным социальным институтом, определяющим уровень научно-технического, экономического и культурного прогресса общества. Чтобы стимулировать этот прогресс, данный институт должен не только соответствовать потребностям времени, но и обладать способностью к опережающему развитию» [4, с. 7].

Развернутая характеристика образования как социального института позволяет существенно расширить наше представление о данном феномене. Такой подход к исследованию образования дает возможность охарактеризовать его как:

1) совокупность организаций и учреждений, функционирующих в соответствии со своими законами и правилами;

2) систему отношений, ролевых функций, норм и правил, возникающих в процессе обучения между различными субъектами образовательного процесса;

3) относительно устойчивый и долговременно действующий тип взаимодействий и поведения людей.

Институциональная трактовка образования впервые обосновывается в рамках социологии образования как одной из важнейших форм его дисциплинарного исследования. Сегодня для многих людей в Республике Беларусь актуальными являются следующие вопросы: каковы роль и место образования в жизни общества и человека, его социальные функции и задачи; проблемы и противоречия в сфере образования, пути их разрешения и способы выхода из кризисных состояний; возможности развития образовательных институтов и систем; виды образовательной деятельности и процессы взаимодействия социальных общностей, включенных в сферу образования; прогнозирование и предвидение возможных его трансформаций и изменений [5, с. 100]. Все эти, а также другие проблемы в полной мере изучаются социологией образования.

Возникновение социологии образования и разработка ее теоретико-методологических основ большинством исследователей относится к рубежу XIX–XX вв. и связывается с именами Э. Дюркгейма, М. Вебера, Дж. Дьюи. Есть и другая точка зрения, согласно которой конституирование отрасли можно отсчитывать не раньше, чем с 1920-х гг. — времени становления эмпирической социологии

и ее признания научным сообществом (Чикагская социологическая школа) [6, с. 13].

Существуют различные подходы к определению социологии образования. В советской науке классическим являлось определение Ф. Р. Филиппова: «Социология образования есть отрасль социологии, изучающая систему образования как социальный институт, социальные проблемы взаимодействия ее подсистем, связи и отношения систем (подсистем) образования с обществом, его социальной структурой и другими элементами» [7, с. 64]. Более универсальную и полную трактовку предложил белорусский социолог академик Е. М. Бабов: «Социология образования — отрасль социологического знания, выясняющая место и роль образования в системе общественного воспроизводства, его взаимоотношения с экономическими, духовными, демографическими и другими общественными процессами, с динамикой социальной структуры общества и его культурой; определяет социальное положение и общественную роль учителя (преподавателя) в обучении и воспитании подрастающего поколения» [8, с. 1051].

Таким образом, социология образования — специальная социологическая теория, предметом которой является система образования как социальный институт, взаимодействие ее компонентов между собой и с обществом в целом. Она изучает развитие образования, его функционирование, структуру, способы организации, динамику его компонентов, его взаимосвязь с другими социальными институтами и сферами жизни общества. Социология образования исследует общие социальные закономерности обучения и воспитания как социальных явлений и их функции на всех уровнях взаимодействия общественных процессов. Познавательную деятельность социология образования рассматривает с позиций социокультурных условий, жизненных ориентаций, особенностей способа жизни учащихся, потребностей производства, науки, культуры.

Объектом социологии образования является сфера образования как социальное явление; люди, их объединения и организации в системе образования. То есть, та социальная среда, где развертывается функционирование процессов образования, действуют определенные субъекты образовательного процесса в ходе разнообразных учебных занятий в ситуациях, складывающихся в процессе таких занятий, с определенной системой взаимоотношений людей, с их институциональной и неинституциональной организацией.

Образование как социальный институт выполняет специфический набор функций, ориентированных на определенные общественные потреб-

ности. Анализ существующих подходов к проблеме функций образования показывает отсутствие их четкой определенности, взаимосвязь функций образования с управленческими задачами, идеологическими оценками, сужение или расширение смысла функций в работах различных авторов. Разность в определении функций образования обусловлена методологическими ориентациями ученых, а также тем фактором, что социальная отдача и результативность образования отложена во времени. Сама реализация функций образования имеет свою специфику: «отставание» (запаздывающее развитие) образования от сферы производства и социальных условий жизни, традиционность и консервативность системы образования даже в условиях общественных и технологических изменений, влияние социального заказа. Вместе с тем большинство социологов выделяет следующие функции образования:

- 1) передача (трансляция) знаний от поколения к поколению;
- 2) усвоение ценностей господствующей культуры, преемственность социального опыта, генерирование и сохранение культуры общества;
- 3) социализация личности и ее интеграция в общество;
- 4) содействие воспроизводству и изменению социальной структуры общества, канал индивидуальной социальной мобильности;
- 5) социальный контроль.

Методологическая характеристика современной социологии – мультипарадигмальность и междисциплинарность исследований. Социология образования как специальная социологическая теория не является исключением. Применяемый в рамках социологической науки институциональный анализ направлен на выявление роли и места образования в совокупной системе общественных отношений, установление степени адекватности выполняемых им функций потребностям социальной системы в целом, а также определение характера взаимосвязей системы образования и других социальных институтов. Кроме того, в рамках институционального подхода осуществляется изучение внутренней структуры образования, т. е. присущих ему социальных ролей и статусов, видов деятельности, а также функционирующих в его рамках формальных организаций [9, с. 211]. Теория конфликта дополняет исследования образования анализом ролевых позиций учителей, изучением неравенства возможностей в образовательном процессе, соответствия (несоответствия) содержания образования целям социализации. Обращение к явным и скрытым функциям образования в работах сторонников функционального

подхода помогает глубже понять механизмы воспроизводства приписываемых и достижимых статусов и, следовательно, обслуживания системой образования различных социальных классов; позволяет разработать функции передачи культуры через систему образования.

В отечественной социологии образования можно выделить два основных направления – структурно-функциональное и социокультурное. Представители первого делают акцент на исследовании образования как системы и взаимодействия его подсистем с обществом [8, с. 1051–1055]. Приверженцы второго направления исследуют образование как вид социокультурной деятельности и культурную ценность, проблемы гуманизации образования и его социокультурной сущности, роль ценностных ориентаций в системе образования [10, с. 231].

Социология образования становится той областью науки, которая обеспечивает взаимодействие всех причастных к образованию научных дисциплин: педагогики, психологии, философии, этики, культурологии, политологии и др. Она изучает не только институты и организации сферы образования, но и конкретный механизм их функционирования и способы регулирования. Интегративная роль социологии образования объективна и объяснима: социология как многоуровневая наука воплощает в себе практическое знание и его теоретическое обобщение. Такая роль социологии образования состоит, во-первых, в том, что она выполняет методологическую функцию при проведении исследований проблем образования, как в рамках узкоспециальных дисциплин, так и в рамках конкретного практического решения. Во-вторых, обеспечивая взаимодействие различных наук на прикладном уровне, с позиций которых исследуются проблемы обучения, воспитания и становления личности, социология образования сама обогащается, развивается и дифференцируется как теоретическая и практическая наука, что проявляется во все более четком ее выделении в качестве особой и самостоятельной дисциплины [11, с. 35]. Именно в этой универсальности социологии образования заключена ее актуальность, специфика и уникальность.

Социология образования вполне может стать основой научного междисциплинарного синтеза в рамках общей теории образования в силу своей предметно-методологической специфики. Предпосылками такой теории уже сегодня являются расширение круга гуманитарных проблем; бурное развитие философии образования как общей методологической основы в сфере образования; тенденция к дополнению методов количественного

анализа методами качественного анализа; наличие единого объекта, единого поля проблем и задач исследования. Междисциплинарный подход в рамках социологии образования может способствовать оформлению единого понятийного аппарата [12].

Социология образования на основе многочисленных исследований выявляет реальные противоречия между количественными и качественными показателями деятельности системы образования, между системами общего и профессионального образования, между ростом интеллектуального потенциала общества и возможностью его реализации в условиях научно-технического прогресса, наконец, между потребностями общества и жизненными планами учащейся молодежи. При участии социологов разработана концепция реформирования системы образования в Республике Беларусь, намечены пути ее реализации.

В современных условиях к образованию как социальному институту предъявляются новые требования, которые касаются характера, целей и методов образовательного процесса, статуса образования в системе социальных институтов. Они породили новые подходы к решению традиционных вопросов, связанных с глобализацией, становлением мирового информационного пространства, новыми образовательными технологиями. Все более актуальными становятся такие проблемы, как модернизация образования, самообразование, непрерывное образование, децентрализация, коммерциализация и престиж образования, образование и мобильность, образование и карьера, новые конфликты в сфере образования, социальная справедливость и образование, использование интеллектуального потенциала в стране, проблемы интерактивного обучения и другие [13, с. 8].

Поиск ответов на эти вопросы есть не что иное, как ответ на вызовы нового века институту образования. Следует отметить, что с началом XXI столетия интенсивность исследований перечисленных проблем в социологическом сообществе значительно возросла. Это связано с рядом факторов, среди которых можно выделить растущее значение научно-технического потенциала общества, междисциплинарный характер большей части новых направлений в науке и технике, динамизм происходящих в сфере производства и потребления изменений, ускорение и обострение социальных процессов, актуализирующих теоретическое и практическое значение образования.

Социальный заказ, предъявляемый обществом к системе образования, вступает в определенное противоречие с возможностями данной системы удовлетворить современные социальные потреб-

ности в этой сфере. Во многом это объясняется инерционностью системы образования. Возникающие проблемы можно выявить, исследуя способы взаимодействия социальных субъектов образования с общественными институтами.

Развитие социологии образования в Республике Беларусь переживает определенные трудности, которые связаны с рядом объективных и субъективных причин. На развитие социологии образования оказывают влияние экономические, политические, научно-технические, идеологические факторы, контекст развития социологического образования в целом. Долгий период социологическое образование на территории страны отсутствовало, лишь в конце 1980-х гг. создаются первые кафедры социологии. В начале 1990-х гг. Министерство образования придало социологии статус базового учебного предмета в высших учебных заведениях. Совершенствование социологического образования требует решения двух основных проблем: проблемы адекватного содержания курса социологии на профильных и непрофильных специальностях и проблемы качественной подготовки специалистов-социологов. Кроме этого, существует ряд проблем кадрового, научного, технического характера, сдерживающих развитие социологии образования, к которым можно отнести следующие:

- 1) недостаток работ теоретического, методологического и обобщающего характера;
- 2) немногочисленные исследования пограничных для социологии образования с другими науками проблем;
- 3) недостаточную определенность в вопросах, касающихся предмета, категориального аппарата и приоритетного поля исследования социологии образования;
- 4) недостаточную аналитичность, а порой и критичность имеющихся работ, ограничение констатацией фактов и данных социологических исследований;
- 5) дефицит обобщающих обзоров отечественной, российской и зарубежной социологии образования, которые могли бы существенно способствовать развитию данной научной отрасли;
- 6) немногочисленность, малотиражность и отчасти закрытость работ, содержащих результаты конкретных социологических исследований и комплексно анализирующих состояние и тенденции развития белорусского образования.

Современное развитие социологии образования в Беларуси определяется потребностью целостного научного осмысления системы образования, определения ее роли в решении проблем государства, выработки более адекватных подходов в образова-



тельной политике. В стратегические задачи новой образовательной политики страны входит достижение мирового уровня образования, приведение его в соответствие с актуальными и перспективными потребностями личности, общества и государства. Исследования в белорусской социологии образования пока еще уступают российским и зарубежным по спектру изучаемых проблем и уровню достигнутого теоретического обобщения результатов. Однако белорусские социологи В. А. Клименко, Н. И. Латыш, А. И. Левко, А. В. Рубанов и др. внесли важный вклад в изучение особенностей организации национальной системы образования, ее роли в трансформирующемся обществе. Отечественными учеными разработаны концепция и модель системы профессионального образования в условиях изменений белорусского общества, исследованы социокультурные факторы формирования личности учащихся. Большое внимание уделяется проблемам социальной политики в сфере образования.

#### Список цитированных источников

1. *Моносзон, Э. И.* Образование / Э. И. Моносзон // БСЭ. — М., 1974; Образование // Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. — М., 1948; *Мацкевич, В. В.* Образование / В. В. Мацкевич // Энциклопедия социологии / под ред. А. А. Грицанова. — Минск, 2003; *Клименко, В. А.* Образование / В. А. Клименко // Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А. Н. Данилова. — Минск, 2003.
2. *Зборовский, Г. Е.* Образование: научные подходы к исследованию / Г. Е. Зборовский // Социол. исслед. — 2000. — № 6.
3. *Микешина, Л. А.* Герменевтические смыслы образования / Л. А. Микешина // Философия образования: сб. науч. ст. — М., 1996.
4. *Шереги, Ф. Э.* Социология образования: прикладные исследования / Ф. Э. Шереги. — М., 2001.
5. *Петрий, П. В.* О некоторых аспектах становления и развития социологии образования / П. В. Петрий // Социология образования. — 2008. — № 1.
6. *Зборовский, Г. Е.* Социология образования / Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. — М., 2005.
7. *Филиппов, Ф. Р.* Социология образования / Ф. Р. Филиппов // Социол. исслед. — 1994. — № 8–9.
8. *Бабосов, Е. М.* Социология образования / Е. М. Бабосов // Энциклопедия социологии / под ред. А. А. Грицанова. — Минск, 2003.
9. *Недзвецкая, Е. А.* Образование как социальный институт: специфика управления / Е. А. Недзвецкая // Вестн. РУДН. Сер. Социология. — 2003. — № 1(4). — С. 210–217.
10. *Левко, А. И.* Социология образования / А. И. Левко // Социологическая энциклопедия / под общ. ред. А. Н. Данилова. — Минск, 2003. — 384 с.
11. *Пузиков, В.* Социология образования: место и роль в системе социально-гуманитарного знания / В. Пузиков, А. Тимофеев // Международные отношения в развитии социально-экономических процессов в странах СНГ: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 14–15 июня 2001 г. — Омск, 2001. — 292 с.
12. *Смирнова, Н. В.* Образовательный процесс как объект философско-социологического анализа / Н. В. Смирнова // CREDO [Электронный ресурс]. — 1998. — № 17. — Режим доступа: <http://credo.osu.ru/017/005.shtml>. — Дата доступа: 17.08.2008.
13. *Бондаренко, В. Ф.* Социология образования как социологическая дисциплина / В. Ф. Бондаренко // Социология образования. — 2007. — № 4.

*Дата поступления в редакцию: 10.03.2010 г.*

УДК 378

## Профориентация и отбор сотрудников правоохранительных органов

**Е. Н. Мисун**, аспирант\*

*Рассматриваются формы и методы реализации профессиональных намерений и профориентационных качеств курсантов Академии МВД Республики Беларусь в процессе их обучения в вузе, выявляются актуальные проблемы и противоречия практики отбора и подготовки высокопрофессиональных сотрудников правоохранительных органов.*

## Vocational guidance and selection of Law machinery's employees

**E. Misun**, Postgraduate Student

*The forms and methods of checking professional intentions and career-guidance qualities of the cadets of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus are analyzed. The problems and contradictions of the practice of choosing and training of the high professional law-enforcement officials are discovered.*

В системе современных профессионально-социальных отношений все большую значимость приобретают те личностные качества сотрудников, их знания и умения, которые в наибольшей мере соответствуют избранной профессии, позволяют обогащать ее новыми идеями, результативными действиями, социально значимым опытом, нравственно-гуманистическим примером. Особо важными и ценными подобными качествами становятся для работников экстремального профиля: врачей, сотрудников МЧС, военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и др. Это обусловлено их особой ролью и спецификой труда. Если говорить о сотрудниках органов внутренних дел, то, как отмечается в Законе «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» (ст. 6), они защищают жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и законные интересы граждан независимо от их гражданства, социального, имущественного и иного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, возраста, образования и языка, отношения к религии, политических и иных убеждений [1, с. 4].

Такой широкий диапазон задач и ответственности, возлагающийся на людей, несущих службу в правоохранительных органах, обязывает их не только хорошо владеть профессионально-административными знаниями и умениями, но и формировать, развивать, активно использовать свои гуманистические качества, осваивать человеко-

ведческие технологии, познавать особенности национальных и религиозных культур и т. д.

Реальный образ успешного сотрудника административных органов складывается в течение длительного времени, включает профессиональные и психофизиологические особенности личности как весьма важные и необходимые: злые, бесчеловечные люди вряд ли способны защищать попавших в беду. Вместе с тем ориентации на экстремальные профессии, возникающие часто еще в детстве, таят в себе немало противоречий и проблем: устремленность к романтическим опасным профессиям не всегда совпадает с психофизиологическими возможностями претендентов и требует огромной работы над собой, к чему не все бывают готовы.

Отбор и подготовка сотрудников правоохранительных органов — процесс сложный и длительный. Далеко не каждый может надеть погоны и стать сотрудником милиции, замечает в интервью газете «Беларусь сегодня» начальник главного управления кадров МВД полковник милиции А. А. Курилец. Нужна специальная проверка на предмет отношения человека к какому-либо криминалу, поручительства, характеристики с места работы, со школы, собеседования с опытными работниками отдела кадров, заключение военно-врачебной комиссии о состоянии здоровья претендента и др. С помощью ряда специальных тестов определяется его психологическая устойчивость, делается прогноз профессиональной успешности и соответствия (по личностным, интеллектуальным, морально-волевым качествам)

\* Научный руководитель — доктор исторических наук, профессор П. П. Украинцев.

тем требованиям, которые предъявляются с учетом особенностей конкретного вида будущей деятельности. Те, кто стремится стать оперативниками, например, проходят дополнительное нейрофизиологическое обследование. Их проверяют на устойчивость к стрессам, выявляют способности самоконтроля, изучают, как быстро человек переходит из спокойного состояния в активное, определяют уровень реакции и координации (сможет ли метко стрелять по движущейся мишени), оценивают скорость принятия решения в простой ситуации и в усложненных условиях [2, с. 14].

Особую роль в обеспечении правоохранительных органов Республики Беларусь профессионально подготовленными кадрами играют учебные заведения системы Министерства внутренних дел, прежде всего Академия МВД. В последнее время здесь предпринят ряд серьезных организационно-содержательных и исследовательских мер, направленных на качественное совершенствование подготовки кадров различных уровней и профилей. Это касается, прежде всего, создания условий для более полного раскрытия и развития профориентационных качеств и намерений курсантов в процессе их учебы в Академии. Наряду с обеспечением возможности овладения новейшими социально значимыми теоретическими и профессиональными концепциями, особое внимание уделяется практической направленности обучения, активному включению в этот процесс самих обучающихся, овладению ими различными навыками и умениями повседневной работы с людьми. А в этом есть большая потребность. Так, например, при социологическом опросе руководителей подразделений органов внутренних дел, в которых проходят службу выпускники Академии 2007 г., 24,5 % из них отметили недостаточность практической подготовки молодых специалистов. Вместе с тем, 81 % опрошенных руководителей заявили о высоком уровне теоретических знаний выпускников [3, с. 26].

Напрашивается вывод: практические навыки выпускников Академии необходимо поднимать до более высокого уровня, опираясь на современные методики, инновационные учебные технологии. На это и направлены в последнее время усилия сотрудников учебного заведения. В совершенствовании подготовки специалистов высшей квалификации здесь все больше используются социологические исследования, которые направляются на выявление наиболее актуальных и проблемных вопросов профессионального и нравственного характера, на поиск эффективных путей повышения качества процесса обучения. В этой связи актуализируются такие направления, как

развитие и углубление профессиональных намерений, профессиональной мотивации и ориентации, профессиональной адаптации и самореализации личности курсанта. Полученные исследовательские материалы широко обсуждаются на научно-практических конференциях, лучший опыт внедряется в практику учебного процесса. Так, на базе Академии МВД Республики Беларусь за последние два года проведены международные конференции на темы: «Инновации в юридическом образовании: содержание, технологии, управление» (октябрь 2008 г.) и «Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики Беларусь» (январь 2009 г.). В выступлениях и опубликованных материалах четко прослеживается возросший интерес к таким практическим вопросам, как качество профессионального отбора, проблемы формирования личностных качеств курсантов, их научного мировоззрения, правовой и нравственной культуры, самореализации и адаптации к правоохранительной деятельности в условиях экстрима и в процессе гуманистических акций по оказанию помощи попавшим в беду гражданам, а также инновационные технологии обучения, формы и методы включения курсантов в учебные процессы и т. д.

В ведомственные учебные заведения, как и в другие вузы, попадают разные студенты; многие из них все чаще ориентируются на потребительский тип поведения, озабочены удовлетворением личных потребностей при минимальной затрате собственных усилий. В ходе проведенного нами социологического исследования\* выявилось, что материальное благополучие, другие потребности личностного плана характерны и для курсантов Академии МВД. Причем, иерархия ценностных установок на разных курсах меняется не всегда к лучшему. Если материальное благополучие на первом курсе занимало 13,4 %, то на третьем – уже 41,2 %; достоинство и служебный долг на 1 курсе составил 13,5 %, а на 3 – всего 5,9 %. Претерпевают изменения и такие ценностные установки курсантов, как любовь, дружба, здоровье. Настораживают одинаково низкие показатели по тем качествам, которые отражают сущность избранной профессии: профессионализм, ответственность, правопорядок, учеба и образование. В целом ценностные установки курсантов Акаде-

\* Исследование проведено в мае 2009 г. кафедрой философии и идеологической работы Академии МВД Республики Беларусь. Было опрошено 220 курсантов 1-го и 3-го курсов факультетов милиции, следственно-экспертного, уголовно-исполнительного,  $p = 0.05$ .

Таблица 1 – Ранговые оценки ценностных установок курсантов 1-го и 3-го курсов Академии МВД Республики Беларусь (% от числа опрошенных)

	Ценность	Результаты самооценки			
		1 курс	ранг	3 курс	ранг
1	Любовь	73,9 %	1	57,6 %	3
2	Дружба	69,6 %	2	72,9 %	2
3	Здоровье	68,1 %	3	82,3 %	1
4	Справедливость	29,0 %	4	28,2 %	5
5	Достоинство и служебный долг	13,5 %	5	5,9 %	9
6	Материальное благополучие	13,4 %	6	41,2 %	4
7	Учеба и образование	11,6 %	7	18,8 %	6
8	Ответственность	8,7 %	8	9,4 %	8
9	Профессионализм	7,2 %	9	10,6 %	7
10	Правопорядок	4,4 %	10	4,7 %	10

мии МВД в их самооценке выглядят следующим образом (табл. 1).

Видимо, не будет ошибкой предположить, что самооценки на 1-м и 3-м курсах отражают противоречивые явления «погружения» пришедших на учебу новичков в сложные процессы освоения профессии, возможно, даже и некоторое их разочарование. Не так просто ответить на вопрос, почему, например, профессионально-сущностные ориентации в процессе обучения в специальном вузе, куда, как известно, попасть достаточно сложно, с годами не возрастают. Между тем и преподавание соответствующих профильных дисциплин, психологических и педагогических наук, профессиональное и нравственное воспитание курсантов в Академии организованы на достаточно высоком уровне.

Исследования выявили и ряд значимых ориентационных подходов в самооценке курсантов Академии МВД. В структуре мотивации учебной деятельности наибольшее значение, например, играет оценочная деятельность, получение удовлетворения от сделанного самостоятельно, возможность проявить инициативу и творчество, самореализоваться.

Под самореализацией мы понимаем такие качества личности, которые приобретаются и реализуются в учебно-профессиональной деятельности курсанта. Самореализация включает в себя формирование совокупности знаний, умений и навыков, обеспечивающих курсанту возможность профессионально проявлять инициативу в принятии адекватных решений при выполнении поставленных профессиональных задач. Профессиональная самореализация представляется в виде сочетания следующих этапов: а) профессиональное самоопределение (выбор вида и направленности деятельности); б) становление в избранной профес-

сии; в) профессиональный рост и развитие профессиональной компетенции.

Что касается профессий, относящихся к экстремальным, то сбалансированное сочетание вышперечисленных этапов профессиональной самореализации для них является весьма важным моментом. Экстремальная профессиональная деятельность больше чем работа. Это стиль жизни индивида, готовность в любую минуту, при любых обстоятельствах выполнить свой профессиональный долг, даже рискуя собственной жизнью. Базисными основаниями для экстремальной профессиональной деятельности являются следующие: осознанное принятие на себя ответственности за самоличное решение; организованность; личное мужество; самокритичность; осознание социальной значимости своей деятельности.

Стрессогенный характер труда сотрудников правоохранительных органов предполагает тщательнейший профессионально-психологический отбор, выявление их осознанной готовности, способности и пригодности выполнять такую работу. Профессиональный отбор в системе МВД осуществляется комплектовочными кадровыми аппаратами территориальных органов внутренних дел при совместном участии военно-врачебных комиссий, а также ведомственных учебных учреждений (если речь идет о профессиональном образовании в системе подготовки кадров для органов внутренних дел). Систему профессионального отбора на службу в органы внутренних дел Беларуси можно представить в виде модели, сочетающей в себе соответствующие органы и организации и три вида отбора: кадровый, медицинский и конкурсный (рис. 1).

Каждый из блоков (кадровый, медицинский, конкурсный отборы) характеризуется своей спе-

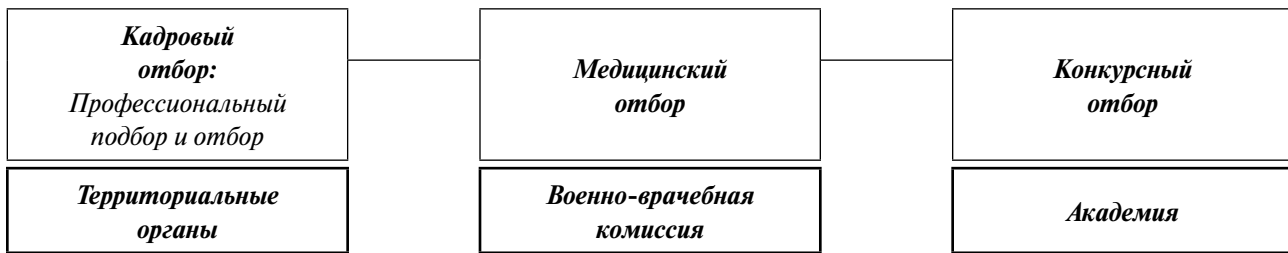


Рис. 1. Модель профотбора в органы внутренних дел Республики Беларусь

цифкой и соответствующими отборочными операциями.

Кадровый отбор включает профессиональный подбор и профессиональный отбор, которые осуществляются комплекующими территориальными органами при участии ведомственных учебных заведений. Под профессиональным подбором понимается система организационных и пропагандистских мероприятий по информированию кандидатов об особенностях службы в органах внутренних дел. Профессиональный подбор по времени предшествует профессиональному отбору и представляет собой систему мероприятий, направленных на выявление и развитие профессиональной ориентации, распространение знаний о данной профессии. В качестве конкретных операций-действий выступают профессиональное просвещение, профессиональное воспитание, профессиональное консультирование.

Профессиональное просвещение – основной формирующий компонент системы профессиональной ориентации. Оно включает в себя процесс ознакомления с сущностью профессии, ее значением для общества, раскрывает социальный престиж профессии, способы и пути обучения, а также знакомит с требованиями, предъявляемыми к личности. Профессиональная консультация призвана помочь учащемуся в выборе дальнейшего профессионального пути с учетом его призвания, способностей и интересов.

Под профессиональным отбором понимаются конкретные отборочные действия (операции), с помощью которых выявляется наличие у претендентов тех профессионально важных качеств, которые в максимальной степени соответствуют научно обоснованным требованиям данной профессии. Завершаются отборочные действия принятием решения о профессиональной пригодности (непригодности) претендентов.

Профподбор, как правило, должен инициироваться работодателями, причем всех уровней: те органы и организации, где предстоит работать отобранному и профессионально подготовленному работникам, должны заботиться о своем кадровом

потенциале. В Академии МВД Республики Беларусь сложилась определенная система профориентационной работы, к которой можно отнести акции в СМИ, создание профильных юридических классов, пропаганда будущей профессии среди учащейся молодежи и т. д. Курсанты Академии МВД постоянно работают в закрепленных за факультетами 56 школах, расположенных не только в Минске, но и в регионах. Формами общения являются беседы на правовые темы, участие в круглых столах по той или иной проблематике, спортивные соревнования, совместные концерты и т. д.

Под профессиональной пригодностью понимаются свойства личности, о которых можно судить по двум критериям: 1) по успешности овладения профессией; 2) по степени удовлетворенности своей деятельностью. Профессиональная пригодность – это соответствие психологических особенностей человека требованиям профессии, которые формируются в процессе деятельности. Любая работа требует от человека определенной скорости, темпа выполнения, умения переключаться с одного типа заданий на другой, концентрации внимания и т. д. В некоторых профессиях эти требования выступают на первый план, создавая трудности для их овладения. Перечень таких профессий невелик, но для их получения и необходимо проходить специальный отбор.

Учитывая это, психолог К. М. Гуревич предложил классифицировать профессии по признаку их абсолютной или относительной профпригодности. Профессии с абсолютной профессиональной пригодностью требуют от человека наличия определенных задатков, профессиональных способностей. Это творческие профессии, а также профессии, связанные с деятельностью в экстремальных ситуациях. Для профессий с относительной профессиональной пригодностью, по мнению К. Гуревича, нет особых показаний, т. е. профессиональная пригодность может быть сформирована у любого человека при условии его высокой мотивации к овладению этими профессиями.

Вряд ли можно согласиться со второй посылкой автора. На наш взгляд, любая профессия требует определенной (хотя бы самой малой) предрасположенности, физиологических качеств, «присоединяющих» человека к «его делу».

Интересным в практике подготовки будущих офицеров органов внутренних дел представляется совместный опыт Академии МВД и юридического факультета Белорусского государственного университета, создавших центры правовой помощи населению, так называемые «юридические клиники». Курсанты, участвующие в работе «юридической клиники», оказывают помощь гражданам по конкретным (индивидуальным) правовым вопросам, осуществляют защиту интересов социально незащищенных групп населения, а также выступают в различных коллективах с лекциями по общеправовым вопросам, что способствует повышению правовой грамотности населения [4, с. 83]. Здесь они могут также научиться более близкому общению с гражданами, овладеть методикой интервьюирования, научиться давать комментарии определенным положениям нормативно-правовых актов, составлять юридические документы, осуществлять правовые исследования и т. д. Это, как показывает практика, не только позволяет углубить понимание профессиональной этики юриста, но и усиливает социальный эффект роли органов внутренних дел, способствует формированию позитивного имиджа органов внутренних дел среди населения.

Вторым основным компонентом системы кадрового отбора на службу в органы внутренних дел Республики Беларусь является медицинский отбор. Он осуществляется военно-врачебной комиссией (ВВК) по двум направлениям: физиологический, направленный на проверку качества организма, и психологический, адресующийся к личности и ее психическим способностям и направленный на выявление лиц, способных или неспособных в дальнейшем осуществлять профессиональные функции.

Заметим, необходимость медицинского отбора давно была понята и применена к профессиям, связанным с военным делом. Хотя Россия до начала XVIII в. не имела регулярной армии, а бояре в период войны набирали ратные ополчения из своих крестьян, но уже тогда был издан первый документ, в котором подчеркивалась важность и необходимость медицинских освидетельствований. С тех пор военно-врачебная и врачебно-трудова экспертиза получили теоретическую и организационную четкость в виде военно-врачебной экспертизы (ВВЭ), опирающейся на сеть военно-врачебных комиссий (ВВК), которые осуществляют не только профессиональный отбор, но и про-

фессиональную консультацию. По результатам медицинского отбора кандидату выдаются соответствующие документы, открывающие (или не открывающие) путь к последующим ступеням профессионального отбора.

Третий компонент системы кадрового отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел – конкурсный отбор. По сложившейся практике окончательное решение о направлении на учебу в Академию МВД Республики Беларусь принимает начальник комплектовочного органа – Управления внутренних дел – на основании решений двух предыдущих отборочных ступеней.

На наш взгляд, здесь явно просматривается нежелательное противоречие, которое следовало бы устранить. При нынешней практике наблюдается ситуация, когда профессорско-преподавательский состав остается в стороне от процесса отбора курсантов, а потом оказывается в роли «создатель» и «ответственных» за многие (хорошие и плохие) качества будущего офицера. Видимо, и на этапе конкурсного отбора необходимо найти формы участия профессорско-преподавательского состава в комплектовании контингента будущих курсантов. Такое участие может реализоваться в виде создания выездных комиссий по месту нахождения УВД, состоящих из специалистов выпускающих (профильных) кафедр, психологов, философов, социологов и представителей комплектовочного органа, которые будут работать на первом этапе отбора абитуриентов. Возможно привлечение к данному виду работы представителей молодежных и общественных организаций, а также ветеранов системы МВД. Такая работа представляется полезной, тем более, что именно на этом этапе встречаются весьма нежелательные факты. Сошлемся на конкретный пример. Так, в ходе вступительной кампании 2008 г. в Академию МВД Республики Беларусь из 1252 личных дел 600 было оформлено на представительниц женского пола, хотя для их обучения было выделено всего 36 мест (10 % от общего количества первокурсников). А по правилам вся работа по подбору кандидатов должна выполняться при активном сотрудничестве местных органов и учебных заведений. Имеют место другие недостатки и проблемы, разрешение которых могло бы способствовать успешной самореализации молодежи в системе учебных заведений и последующей их адаптации в органах внутренних дел, достижению положительных результатов в службе, деловом росте, удовлетворенности молодых специалистов своим социальным статусом и др.

В этом ключе, на наш взгляд, могло бы дать положительный эффект возрождение и активизация

плодотворно действовавшего в советское время института отличников МВД. К сожалению, с начала 90-х гг. этому направлению работы с личным составом в силу объективных причин не уделялось должного внимания. И хотя сегодня пока нет четкой концепции и системы использования этого общественного формирования в целях совершенствования воспитания личного состава служб МВД и курсантов, нам все же представляется, что за ним будущее, что слеты отличников МВД будут успешно работать на укрепление авторитета работников правоохранительных органов в глазах населения. Этому послужат и основные направления дальнейшего совершенствования этой работы, намеченные слетом отличников МВД в 2008 г. Они предусматривают укрепление целенаправленного и систематического взаимодействия сотрудников МВД с молодежью по месту жительства, расширение профессионального просвещения и консультирования по юридическим вопросам гражданской молодежи, местного населения.

Совершенствованию профессионального отбора кадров на службу (учебу) в органы внутренних дел могли бы способствовать: усовершенствованный стандарт социально-психологических, идейно-нравственных и мировоззренческих установок; выработка четких критериев оценки знаний и представлений кандидатов на службу в органы внутренних дел; более полная информация о характере будущей профессии, о целях и задачах правоохранительных органов Республики Бела-

русь, правах и обязанностях их сотрудников. Как важное направление видится также активизация взаимодействия территориальных органов внутренних дел с учреждениями образования Республики Беларусь, необходимость при отборе лиц на учебу и службу в органы внутренних дел учитывать как интересы комплекующих органов, так и интересы ведомственных учебных заведений, а особенно мотивацию и потребности людей, которые выбрали для себя данную профессию.

#### Список цитированных источников

1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З: текст по сост. на 1 нояб. 2007 г. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 28 с.
2. *Кунявская, М.* Тест на честность / М. Кунявская // Беларусь сегодня. – 2009. – 13 мая. – С. 14.
3. *Савенок, А. Л.* Система практической подготовки юристов: инновационные подходы и содержание / А. Л. Савенок, О. З. Рыбаключева // Инновации в юридическом образовании: содержание, технологии, управление: сб. материалов Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 31 окт. 2008 г. / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2008. – 263 с.
4. *Греченков, А. А.* Традиции и инновации в подготовке курсантов Академии МВД Республики Беларусь / А. А. Греченков, А. Г. Свергун // Инновации в юридическом образовании: содержание, технологии, управление: сб. материалов Междунар. науч.-метод. конф., Минск, 31 окт. 2008 г. / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2008. – 263 с.

*Дата поступления в редакцию: 08.03.2010 г.*

- *Психологические факторы агрессивного реагирования в ситуации фрустрации*
- *Отражение социальных представлений о власти и подчинении в лексике массовой коммуникации*
- *Проблема «Я-концепции» в мире современных компьютерных технологий в фокусе зарубежных теорий личности*

УДК 159.9:612.821.3

## Психологические факторы агрессивного реагирования в ситуации фрустрации

**Я. Е. Красовская**, аспирантка\*

*Анализируются мотивационные, когнитивные и эмоциональные факторы агрессивного реагирования в ситуации фрустрации. Рассматриваются теоретические модели, объясняющие связь фрустрации-агрессии. Дается характеристика враждебного комплекса эмоций, который запускает агрессивные действия. Описывается также влияние атрибуций на характер эмоций и реакций в ситуации фрустрации.*

## Psychological Factors of Aggressive Behavior in a Situation of Frustration

**Y. Krasovskaya**, Postgraduate Student

*Motivational, cognitive and emotional factors of aggressive behavior in a situation of frustration are considered in the article. Theoretical models of frustration-aggression connection are discussed. It includes a characteristic of a hostile complex of emotions that triggers aggressive actions. Influence of the attributions on the type of emotion and behavior is also described.*

Термин «Frustration» в переводе с латинского языка означает расстройство (планов), крушение (замыслов) [1], т. е. предполагает некую травмирующую ситуацию. Впервые понятие «фрустрация» употребил З. Фрейд [2]. Он связывал его с основными проблемами секса, культуры, сублимации, сновидений и всей областью психопатологии.

Понятие «фрустрация» используется в двух значениях: состояние фрустрации и фрустрационная ситуация. Схема фрустрационной ситуации довольно проста. Необходимо наличие препятствия на пути целенаправленной деятельности. Препятствия, барьеры называют фрустраторами, они не позволяют индивиду достичь поставленной цели [3–4]. В данной ситуации возникает состояние фрустрации, которое характеризуется мотивационным и эмоциональным напряжением, желанием удовлетворить блокируемую потребность [5–8]. Фрустрация может выражаться в переживаниях разочарования, тревоги, раздражительности, на-

конец, отчаянии. Такая эмоциональность часто приводит к дезорганизации деятельности, снижению ее эффективности. В то же время сильные переживания, вызываемые фрустрацией, могут вытесняться и внешне не выражаться [5, 7, 9–10].

Одной из самых частых следствий фрустрации является реакция агрессии. Начало изучению связи агрессии-фрустрации положила группа ученых Йельского университета, которую возглавили Дж. Доллард, Н. Миллер, Л. Дуб, О. Маурер и Р. Сирс. В 1939 г. они предложили гипотезу «фрустрации – агрессии», которая сводится к двум основным положениям [9].

1. Фрустрация всегда приводит к агрессии в какой-либо форме.
2. Агрессия всегда является результатом фрустрации.

С момента своего появления данная теория подвергалась многочисленной критике. Появится ли агрессия в ситуации фрустрации или нет, зависит от множества психологических факторов.

Многие ученые представили результаты эмпирических исследований в подтверждение того, что

\* Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор И. А. Фурманов.



фрустрация не всегда ведет к агрессии [Л. Берковиц, Р. Джин и И. Онил], например, человек может попытаться устранить препятствие, действуя рациональным способом, или переключиться на другую (замещающую) цель, или выйти из фрустрирующей ситуации. Впоследствии сам Н. Миллер [11] внес поправки: фрустрация порождает различные модели поведения, и агрессия является лишь одной из них. Дж. Доллард и соавторы стали объяснять неагрессивные реакции в основном либо слишком слабым побуждением к агрессии, возможно из-за несоответствия характеристик объекта качествам раздражителя [9], либо подавлением агрессивного драйва, вызванным угрозой наказания [5]. Позже Н. Миллер [11] указал еще на один фактор, который может влиять на вероятность агрессивной реакции. Этот фактор связан с тем, сформированы или нет у индивида другие способы реагирования на фрустрацию. Если эти неагрессивные тенденции окажутся более сильными, нежели агрессивное побуждение, то они будут маскировать агрессивную тенденцию. По мнению Н. Миллера, люди могут научиться неагрессивным способам реагирования на фрустрацию. Эти взгляды были также высказаны А. Бандурой [12], который считал, что фрустрация вызывает агрессию, прежде всего у людей, которые усвоили привычку реагировать на фрустрацию или другие авersive стимулы агрессивным поведением. Однако Н. Миллер также отмечал, что если фрустрация постоянная, то альтернативные тенденции будут ослабевать, а агрессивные в то же время усиливаться и, следовательно, вероятность открытой агрессии будет повышаться. Современные исследователи [Л. Берковиц, А. Бандура, А. Налчаджян, Р. Бэрон, Р. Джин и др.] приходят к мнению, что фрустраторы вызывают не агрессивное поведение само по себе, а готовность к агрессивным действиям (агрессивные тенденции, агрессивную установку, эмоции злости и гнева), которые могут реализовываться, а могут и нет.

Важно также учитывать интенсивность фрустрации. Р. Бэрон и Д. Бирн [9] отмечают, что фрустрация приводит к усилению агрессии только в том случае, если она достаточно интенсивна; если же фрустрация слаба или имеет среднюю силу, то почти никакого изменения агрессии не наблюдается. Подобные результаты были также получены в исследованиях М. Харриса [13].

Таким образом, не каждая фрустрация ведет к открытому нападению, не все агрессивные тенденции проявляются в агрессивном поведении. Целый ряд условий может влиять на вероятность того, что люди будут вести себя агрессивно, когда им препятствуют в достижении их целей. Особое

значение имеют мотивационные, эмоциональные и когнитивные факторы.

По исходному мотиву различают агрессию инструментальную (проактивную) и эмоциональную (реактивную). Многие авторы отмечают, что фрустрация связана лишь с эмоциональной агрессией [Л. Берковиц, Х. Хекхаузен, И. Роланд, Т. Идсье, А. Налчаджян]. В данном случае агрессия, причинение вреда другому, является самоцелью [9] и может рассматриваться как непосредственная реакция на провокацию с внешней стороны. В случае инструментальной (проактивной) агрессии преследуется достижение неагрессивных целей [13], будь то власть, материальная выгода, повышение самооценки, необходимость защищать собственную жизнь и др. Поведение здесь характеризуется большей продуманностью и запланированностью. При этом отмечается [14], что в реактивной агрессии доминирующей эмоцией является гнев, а в проактивной – удовольствие от причинения вреда другому.

Однако А. Налчаджян [13] отмечает, что когда человек проявляет инструментальную агрессию, в самом ходе совершения насильственных действий он может перейти в состояние сильного возбуждения и переживать гнев. Начиная свои агрессивные действия, он, чтобы оправдать их в своих глазах, приписывает жертве отрицательные черты и затем действует так, будто она является реальным носителем этих черт и мотивов. Иными словами, инструментальная агрессия может трансформироваться в эмоциональную и наоборот. Кроме того, «чистые» типы агрессии встречаются редко [5], зачастую наблюдается смешанный вид, когда кроме сильного желания причинить ущерб своей жертве присутствуют и другие цели – желание самоутверждения, усиления положительных компонентов своей «Я-концепции», утверждение собственных политических, моральных и других принципов и т. п.

В данном контексте следует вернуться ко второму утверждению гипотезы Дж. Долларда – «агрессия всегда является следствием фрустрации». В литературе встречается опровержение, утверждающее, что агрессивные действия возможны даже при полном отсутствии фрустраторов, например, поведение наемного убийцы, которое можно отнести к инструментальной агрессии. Однако, как уже было сказано, инструментальная агрессия может трансформироваться в эмоциональную. Ведь у субъектов агрессии существует иерархия целей, где могут присутствовать как неагрессивные, так и второстепенные агрессивные цели. В этом случае агрессивная цель вместе с агрессивным поведением служит для достижения

главной цели, например богатства, статуса, восхищения и т. п.

Эмоциональные факторы агрессивного реагирования являются наиболее изученными. В ответ на фрустрирующие обстоятельства возникает комплекс негативных эмоций – А. Налчаджян называет его «враждебным комплексом», в который входят враждебность, гнев, презрение, страх, тревога, разочарование и т. п. [13]. Вначале различные эмоции смешаны и недифференцированы. Впоследствии размышления по поводу пережитого и эмоции становятся все более отчетливыми [9].

Л. Берковиц [5] в своей когнитивно-неоассоциативной модели агрессии отмечал, что фрустрации порождают общее негативное эмоциональное состояние, которое выражается в двух возможных тенденциях, – борьбы или бегства. Первичными эмоциями в этой концепции служат гнев и страх. Однако для оформления тенденций в конкретные эмоции гнева или страха задействуются когнитивные процессы – воспоминания, объяснения, ожидания, социальные нормы и т. п. Более тщательное обдумывание происходящего приводит к выбору между бегством либо агрессивным поведением. По мнению Л. Берковица, именно формирование негативного эффекта и создает необходимую мотивацию для проявления агрессивных тенденций.

Подобного мнения придерживается также И. А. Фурманов, который отмечает, что в ситуации фрустрации вследствие мотивационного и эмоционального напряжения возникает состояние страдания, которое выражается в двух базовых эмоциях – страха либо гнева. Взаимодействие этих двух эмоций определяет характер поведения индивида. Преобладание страха над гневом стимулирует подавленно-агрессивное поведение – приспособление к ситуации, сверхконформность, неуверенность в себе. Если же страх равен гневу, возникает пассивно-агрессивное поведение – завуалированная, скрытая агрессия, смещение на менее опасные объекты; в случае же преобладания гнева человек скорее будет проявлять активно-агрессивное поведение, что может выражаться в спонтанности, вспыльчивости, доминировании, иногда самодовольстве и нарциссизме [15].

Если же агрессивные тенденции все же появились, они могут подавляться страхом наказания [5, 9, 11, 13, 16]. Поэтому, когда фрустратором является человек, занимающий высокий социальный статус, у жертвы возникают более слабые агрессивные действия, чем в том случае, когда фрустратор занимает низкий статус. Кроме того, усиливающий или тормозящий агрессию эффект

оказывает уже само присутствие других людей, которым субъект приписывает определенное отношение к агрессивности [17]. В то же время, когда прямые формы агрессии сокращаются или подавляются, усиливаются ее не прямые формы: ругательства, сопровождающиеся агрессивными фантастическими сценами, вымещение эмоций на невинных объектах – эффект смещения агрессии, исследованием которого занимался Н. Миллер – и т. п. [13]. Однако существует и обратная сторона страха, усиливающая агрессивность. Агрессор может бояться возмездия жертвы и решает сделать ее окончательно недееспособной или полностью уничтожить [9].

Когда человек оказывается в проблемной ситуации и переживает стресс и фрустрацию, то характер и параметры его эмоций зависят не столько от того, что воздействует на его органы чувств, сколько от того, как он воспринимает это воздействие. Б. Вайнер разработал схему когнитивно-эмоционального процесса, состоящую из нескольких основных компонентов. Вследствие оценки индивидом действий или ситуации появляются первичные универсальные эмоции (хорошо-плохо), далее задействуются более сложные когнитивные процессы, когда происходит объяснение. Впоследствии появляются конкретные специфические эмоции.

Предшественником любого поведения является интерпретация индивидом возникшей ситуации, которая основывается на предыдущем опыте самого человека, на косвенном опыте, на моральных принципах, установках, атрибуциях и т. п. Враждебный комплекс эмоций служит непосредственным компонентом агрессивных тенденций. Однако возникает важный вопрос, какие когнитивные механизмы запускают враждебные эмоции.

Атрибуции людей, то, как они рассматривают препятствия на пути к цели, определяют их реакции на фрустрацию. Б. Вайнер отмечал [18], что фрустрированный индивид, вероятно, будет испытывать гнев и будет разозлен на того, кто препятствует достижению его цели, только в том случае, если он припишет действиям этого человека определенные характеристики, а именно:

- действия должны рассматриваться как внутренне детерминированные (т. е. обусловленные, например, мотивацией или особенностями личности фрустратора);
- контролируемые (т. е. фрустратор намеренно совершает действия или, по крайней мере, мог не совершать их, если бы захотел);
- неправильные (т. е. нарушающие общепринятые правила поведения).

Л. Берковиц [5, 19] также отмечал, что люди испытывают более сильные фрустрации, если они рассматривают действия других людей, создающих препятствия на пути к их цели, как несправедливые, произвольные (т. е. в действиях фрустратора усматривался злой умысел, а его действия направлены против нас лично), а также как незаконные. Например, игроки в футбол не окажутся фрустрированными до того момента, пока не будут считать, что действия противоположной команды противоречат правилам или несправедливы. Исследования Ф. Уорчела [20] подтверждают выводы Л. Берковица: фрустрация приводит к усилению агрессии лишь в том случае, если воспринимается как произвольная и бессмысленная. В то же время, когда она считается фрустрированным человеком оправданной и обоснованной, у него почти не возникает никакой агрессии. По мнению И. Джениса [16] это означает, что и при наказании мы ждем справедливости.

Таким образом, атрибуции относительно намерения других людей зачастую играют важную роль в агрессии. Агрессивные атрибуции используются для снятия когнитивного диссонанса, который возникает вследствие столкновения двух намерений — проявить агрессию и сохранить позитивный образ своей личности [13, 21]. Безусловно, такой диссонанс будет мотивировать защитно-адаптивные процессы, сопровождаясь неприятными эмоциями. В зависимости от того, какую адаптивную стратегию выбирает человек в определенной ситуации, проявляются различные реакции на фрустрацию.

Проявление агрессии у человека влечет за собой поиск оправдания своей агрессивности, и тогда он начинает приписывать жертве негативные черты, злые намерения. Эти атрибуции имеют разрешающую силу для агрессора, предоставляют основания для еще большего усиления агрессии. Могут иметь место атрибуции черт, установок, намерений, причин поведения и т. д. Некоторые из этих атрибуций свойственны и самому агрессору и являются проективными [13].

Существует личностная особенность приписывать враждебные намерения другим. Эта тенденция известна как предвзятая атрибуция враждебности [22]. К. Додж и Дж. Куайе связывают атрибуцию враждебности со склонностью к реактивной агрессии. Иными словами, если человек сам склонен реагировать агрессивно на малейшую провокацию, он будет приписывать другим людям такие же враждебные намерения. По мнению А. Налчаджяна [13], для проактивной агрессии — наступательной и неспровоцированной — нужны более общие атрибуции агрессивности и враждебности

ко всем людям, к человеку вообще, а не только к конкретным людям и группам, которые провоцируют человека.

Атрибуции входят в основу когнитивного блока враждебной установки [13, 23] и служат для психологического обоснования и оправдания такого поведения, для самоубеждения в его необходимости. Враждебная установка облегчает переход агрессивных тенденций в агрессивные действия. Атрибуция враждебности также способствует формированию враждебного сценария поведения.

Л. Р. Хьюсман [15] указывал на то, что появление агрессии обусловлено наличием агрессивных сценариев поведения, которые представляют собой подкрепленные позитивным опытом схемы агрессивного поведения в разных ситуациях. Предположим, в прошлом агрессивные попытки разрешить конфликт увенчались успехом, следовательно, в будущем вероятность использования агрессии для достижения своей цели будет очень велика. Подобные идеи высказывал также Н. Миллер [11], который утверждал, что появление агрессии вследствие фрустрации зависит от позиции агрессивной реакции в ряде других возможных реакций в опыте индивида.

Когнитивные процессы запускают определенные эмоции, которые вместе стимулируют проявление агрессивных действий.

К. Джонс и Н. Крик [13] выделяют пятиступенчатый процесс, в результате которого люди ведут себя агрессивно. Первая стадия — это восприятие агрессивных сигналов. Следующая — интерпретация этих сигналов, атрибуция причин. После того как человек приходит к определенному выводу об агрессивных намерениях другого, оправдывает свои мысли и агрессивные тенденции, наступает этап выбора подходящих агрессивных реакций. У агрессивных людей преобладают насильственные способы разрешения таких конфликтов, у неагрессивных — более широкий набор возможных действий. Затем наступает этап оценки этих возможных действий, например, по ожидаемым последствиям. Человек обдумывает, возможно ли наказание, как отреагируют значимые люди. В дальнейшем наступает этап реализации тех действий, которые индивид считает подходящими в данной ситуации.

В теории Дж. Долларда и его коллег описываются также дополнительные факторы, которые увеличивают интенсивность фрустрации и, следовательно, побуждают к агрессии [24]:

- 1) степень ожидаемого субъектом удовлетворения от будущего достижения цели;
- 2) сила препятствия на пути достижения цели;
- 3) количество последовательных фрустраций.

Чем в большей степени субъект предвкушает удовольствие, чем сильнее препятствие и чем большее количество ответных реакций блокируется, тем сильнее будет толчок к агрессивному поведению.

Таким образом, не каждая фрустрация ведет к открытому нападению, не все агрессивные тенденции проявляются в агрессивном поведении. Целый ряд психологических факторов может влиять на вероятность того, что люди будут вести себя агрессивно, когда им препятствуют в достижении их целей. Важным аспектом является наличие у человека мотива нанести вред жертве либо достичь других неагрессивных целей. Для проявления агрессивного поведения необходим высокий уровень интенсивности фрустрации, который зависит от степени ожидаемого субъектом удовлетворения в результате достижения цели, зависит от силы препятствия, от количества последовательных фрустраций. Кроме того, повлечет ли фрустрация за собой агрессию или нет — зависит от интерпретации индивидом множества ситуационных факторов и от его эмоциональной реакции на них. Фрустрация приобретает наибольшую силу, если данная ситуация рассматривается как преднамеренная, несправедливая, направленная на человека лично. Подобное восприятие ситуации стимулирует появление враждебного комплекса эмоций, что и приводит к агрессии.

#### Список цитированных источников

1. Дьяченко, М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. — Минск: Харвест; М.: Аст, 2001. — С. 469.
2. Buss, A. H. Physical aggression in relation to different frustrations / A. H. Buss // *J. of Abnormal and Social Psychology*. — 1963. — Vol. 67. — P. 1–7.
3. Ильин, Е. П. Эмоции и чувства / Е. П. Ильин. — СПб.: Питер, 2001. — С. 163–168, 340–348.
4. Ребер, А. Большой толковый психологический словарь: в 2 т. / А. Ребер. — М.: Вече-Аст, 2003. — Т. 2. — С. 437.
5. Берковиц, Л. Агрессия: причины последствия и контроль / Л. Берковиц. — СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. — С. 53–73.
6. Виллюнас, В. К. Психология эмоций / В. К. Виллюнас. — СПб.: Питер, 2004. — 496 с.
7. Левитов, Н. Д. Фрустрация как один из видов психических состояний / Н. Д. Левитов // *Вопр. психологии*. — 1967. — № 6. — С. 118–128.
8. Рейковский, Я. Экспериментальная психология эмоций / Я. Рейковский. — М.: Прогресс, 1979. — 392 с.
9. Бэрон, Р. Агрессия / Р. Бэрон, Д. Ричардсон. — СПб.: Питер, 2001. — 352 с.
10. Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани. — Ростов н/Д: Феникс, 1998. — С. 74–81.
11. Miller, N. The frustration-aggression hypothesis/ Symposium on the Frustration / N. Miller // *Psychological Review*, 1948. — Vol. 4. — P. 337–366.
12. Бандура, А. Теория социального научения / А. Бандура. — СПб.: Евразия, 2000. — 562 с.
13. Налчаджян, А. А. Агрессивность человека / А. А. Налчаджян. — СПб.: Питер, 2007. — 736 с.
14. Roland, E. Aggression and Bullying / E. Roland, T. Idsoe // *Aggressive Behavior*. — 2001. — Vol. 27. — P. 446–462.
15. Фурманов, И. А. Агрессия и насилие: диагностика, профилактика и коррекция / И. А. Фурманов. — СПб.: Речь, 2007. — 480 с.
16. Janis, I. L. Personality. Dynamics, development, and assessment / I. L. Janis. — New York, 1969. — P. 156–162.
17. Хекхаузен, Х. Мотивация и деятельность / Х. Хекхаузен. — СПб.: Питер, 2003. — 854 с.
18. Weiner, B. An attributional theory of achievement motivation and emotion / B. Weiner // *Psychological Review*. — 1985. — Vol. 92. — P. 548–573.
19. Berkowitz, L. Frustrations, appraisals, and aversively stimulated aggression / L. Berkowitz // *Aggressive Behavior*. — 1988. — Vol. 14. — P. 3–11.
20. Worchel, S. The effects of three types of arbitrary thwarting on the instigation to aggression / S. Worchel // *J. of Personality*. — 1974. — Vol. 42. — P. 301–318.
21. James, R. L. A conditional reasoning measure for aggression / R. L. James, D. M. McIntyre, C. A. Glisson // *Organizational Research Method*. — 2005. — Vol. 8. — P. 69–99.
22. Lindsay, J. J. From antecedent conditions to violent actions: a general affective aggression model / J. J. Lindsay, C. Anderson // *Personality and Social Psychology bulletin*. — 2000. — Vol. 26. — P. 533–547.
23. Янчук, В. А. Введение в современную социальную психологию: учеб. пособие для вузов / В. А. Янчук. — Минск: АСАР, 2005. — 768 с.
24. Geen, R. G. Effects of frustration, attack, and prior training in aggressiveness upon aggressive behavior / R. G. Geen // *J. of Personality and Social Psychology*. — 1968. — Vol. 9. — P. 316–321.

Дата поступления в редакцию: 03.03.2010 г.

УДК 316.658+316.462

## Отражение социальных представлений о власти и подчинении в лексике массовой коммуникации

Т. О. Кулинкович, аспирант\*

*В статье рассматривается частота упоминаний слов «власть», «подчинение», а также близких по значению слов в языке массовой коммуникации. На основе анализа материалов СМИ рассматривается динамика употребления слов в течение последнего десятилетия. Обсуждается преобладание в языке слов властной семантики, а также динамика употребления в прессе слов «влияние» и «господство».*

## The Reflection of Social Representations of Power and Subordination in the Lexicon of Mass Communication

T. Kulinkovich, Postgraduate Student

*The article deals with the frequency of mention of the word „power“, „subordination“ and cognate words in the language of mass communication. Based on the analysis of media materials the dynamics of the use of words in the last decade is considered. We discuss the prevalence of the words of power in the language semantics, as well as the dynamics of the use of the words „influence“ and „domination“ in press.*

Целостное изучение власти предполагает исследование основных составляющих властного взаимодействия: субъекта и объекта власти. Тем не менее, в социальных науках акцент зачастую ставится на изучении субъекта, ресурсов и форм власти [1–3], в то время как объект власти и механизмы его подчинения рассматриваются скорее как производная властного воздействия. Недостаток внимания социальных наук к проблеме подчинения и исполнительской деятельности отмечается современными исследователями, обратившимися к изучению данного явления [4–5].

Высказанные наблюдения подтверждаются анализом справочной литературы, который позволяет выдвинуть предположение о том, что проблематика подчинения игнорируется не только на уровне социальных исследований, но также мало представлена в общественном сознании. Так, среди 23 рассмотренных нами крупных русскоязычных энциклопедий и словарей разных лет термин «подчинение», а также однокоренные и сходные по значению слова были представлены в 3 энциклопедиях и 5 толковых словарях [6], тогда как термину «власть» уделялось внимание во всех источниках.

Таким образом, несмотря на то, что проблема «подчинения», на первый взгляд, кажется широко представленной в массовом сознании, это понятие

в сравнении с понятием «власть» редко упоминается в толковых и энциклопедических словарях и еще реже выступает в качестве самостоятельного объекта изучения социальных наук. Ввиду обнаруженного противоречия представляет определенный интерес проведение сравнительного анализа частоты употребления понятий «власть» и «подчинение», а также близких им по значению слов в массовой коммуникации с целью изучить социальные представления о власти и подчинении.

### Распространенность слов «власть», «подчинение» и близких им форм в русском языке

В зависимости от контекста употребления слова «подчинение», а также от трактовки понятия «власть» в применении к подчинению, в русском языке можно встретить следующие синонимы: повиновение, послушание, покорность, исполнительность, преданность, дисциплина, субординация [7]. К ряду синонимов практика психологических исследований добавляет также конформность, внушаемость, уступчивость и др. Информацию о распространенности данных слов в русском языке можно получить в частотных словарях русского языка, крупнейшими из которых можно назвать «Частотный словарь русского языка» под редакцией Л. Н. Засориной (1977 г.) [8] и частотный словарь электронной базы данных периодики Интегрум. Последний составляется на основе индексации поступающих в базу данных документов

\* Научный руководитель — доктор психологических наук, профессор И. А. Фурманов.

Таблица 1 – Частота употребления слов семантического поля «власть»

	Частота употребления слов согласно частотному словарю под редакцией Л. Н. Засориной (1977), %	Частота употребления слов согласно частотному словарю БД «Интегрум» (2009)	
		Частота употребления слов в мировой худ. литературе, %	Частота употребления слов в СМИ России и стран СНГ, %
Власть	0,95	14,74	13,62
Господство	1,25	–	–
Влияние	0,35	2,82	2,78
Подчинение	0,23	1,04	0,87
Дисциплина	–	1,01	0,86
Конформность	–	–	–
Повиновенье	0,04	–	–
Покорность	0,09	–	–
Послушание	0,29	–	–

центральных и региональных СМИ России и стран СНГ. В словарь включено более 8 млрд слов (около 40 млн документов). Дополнительным сервисом является частотный словарь, составленный на основе анализа текстов мировой художественной литературы. Распределение частот встречаемости слов «власть» и «подчинение» с близкими по значению словами (относительно наиболее часто употребляемого слова) представлено в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что слова семантического ряда «власть» упоминаются в русском языке значительно чаще, чем слово «подчинение» и его синонимы. Примечательно, что синонимы подчинения, такие как «повиновение/ повиновенье», «послушание/ послушанье», «покорность», «конформность», «уступка» не попали в частотный словарь современных СМИ. Сравнительно более частое употребление в СМИ слов «подчинить» и «дисциплина» можно объяснить их отношением к субъекту власти, трансляцией значения властного воздействия. Значительный разрыв в употреблении слова «власть» в языке СМИ может быть связан с его употреблением чаще в значении органа управления («государственные власти», «муниципальные власти» и др). Тем не менее, слова «влияние» и «господство», обладающие вполне определенным значением, также встречаются значительно чаще, чем формы слова «подчинение» и его синонимы.

Отдельно следует обратить внимание на различия в употреблении слов «власть» и «господство» в словаре редакции 1977 г. и в словаре языка современной прессы. Так, для литературы советского периода более актуальным было обращение к словам с основой «господство», в то время как на современном этапе значительно чаще стали употребляться слова «власть» и «влияние». Обратимся к анализу динамики частоты встречаемости слов «власть» и «подчинение» в современных русскоязычных СМИ.

### Анализ динамики употребления слов «власть» и «подчинение» в современных СМИ

В последние годы в социальных исследованиях для анализа текстов СМИ стали использоваться возможности электронных баз данных. Неоспоримым преимуществом этих сервисов является полный охват выбранных источников<sup>1</sup>, возможность сложного автоматического поиска и первичной статистической обработки данных. Одной из крупнейших баз данных русскоязычной периодики считается электронная база данных СМИ «Интегрум», активно используемая в гуманитарных исследованиях [9–13]. Она предлагает широкие возможности для проведения маркетинговых исследований [11], исследований имиджа отдельных персон и должностных лиц [12], а также проведения социополитических исследований России и стран постсоветского пространства зарубежными институтами [13].

Одной из функций «Интегрума» является возможность сравнения частоты употребления рассматриваемых слов в средствах массовой информации в заданном временном промежутке с заданным шагом. В большинстве социальных исследований анализ частоты встречаемости слов, проведенный посредством специальных возможностей электронных баз данных, является первым этапом контент-анализа, который дополняется качественным анализом контекста упоминания слов, их смысловой окраски и др. Однако в соответствии с целями данной работы анализ текстов СМИ ограничивается только количественной регистрацией и сравнительным анализом динамики упоминания слов «власть», «подчинение» и близких по значению слов в периодических изданиях, независимо от контекста их употребления.

В анализ были включены документы крупнейших центральных и региональных печатных изданий, ма-

<sup>1</sup> Так, по состоянию на июль 2008 г. в базах «Интегрума» хранилось более 400 млн документов в 7500 базах данных.

Таблица 2

Употребляемые слова	Год	Частота упоминания слов в текстах СМИ относительно общего числа документов, %										
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Власть, ср. 13,03 %		15,14	13,62	12,6	11,85	12,88	13,26	13,62	13,66	12,64	12,17	11,85
Господство, ср. 2,28 %		2,03	1,91	1,85	1,96	1,96	2,31	2,42	2,7	2,71	2,59	2,67
Влияние, ср. 2,71 %		3,31	2,83	2,67	2,56	2,63	2,64	2,62	2,55	2,56	2,57	2,87
Подчинение, ср. 1,49 %		2,03	1,75	1,58	1,46	1,46	1,49	1,56	1,38	1,29	1,22	1,13
Покорность, ср. 0,7 %		0,92	0,83	0,74	0,67	0,66	0,7	0,69	0,67	0,63	0,63	0,61
Послушание, ср. 0,59 %		0,84	0,77	0,67	0,58	0,55	0,58	0,56	0,53	0,48	0,47	0,43
Повиновение, ср. 0,05 %		0,08	0,07	0,07	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03
Конформность, ср. 0,03 %		0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02

териалы информационных агентств России и стран СНГ, материалы крупнейших информационных Интернет-ресурсов, изданные в период с 1999 по 2009 гг. Общее количество источников составило 6016 периодических изданий. Динамика частоты употребления слов «власть», «подчинение» и близких по значению слов в СМИ России и стран СНГ за последние 11 лет относительно общего числа документов за анализируемый период отражена в таблице (табл. 2). Хотя сравнение в абсолютных величинах было бы более иллюстративным, оно не способно отразить реальную динамику ввиду постоянного увеличения количества документов и новых изданий в базе данных «Интегрум»<sup>2</sup>.

Как видно из табл. 2, слово «власть» и его однокоренные формы на протяжении рассматриваемого промежутка времени употребляются в СМИ гораздо чаще остальных изучаемых слов. Так, если измерять встречаемость слов в абсолютном количестве документов, разница частоты употребления слов «власть» и «подчинение» в 1999 г. составляет около 200 тыс. документов, а в 2009 г. – около 1,5 млн документов. В таблице можно также проследить динамику употребления слова «власть» и его форм на протяжении прошедших 11 лет. Явный «пик» приходится на 1999 г., относительно высокое плато в 2005–2006 гг., а в 2002 г. и 2008–2009 гг. наблюдаются самые низкие показатели, на 3,29 % – ниже пика 1999 г.

Для лучшего отображения результатов сравнения употребления форм остальных слов можно

дополнительно представить кривые частот, исключив график употребления форм слова «власть» (средняя частота: 13,03 %), «конформность» (средняя частота: 0,03 %) и «повиновение» (средняя частота: 0,05 %) (рис. 1).

Анализ сравнения частоты встречаемости слов показывает, что формы «господство» и «влияние» используются в СМИ значительно чаще, чем слова со значением «подчинение», особенно в динамике последних лет. Как было отмечено выше, формы слова «подчинение» являются наиболее употребляемыми в своем синонимичном ряду. В то же время, за последние 11 лет наблюдается ярко выраженный спад их использования в СМИ СНГ. Количество употребления основы «подчинение» снизилось в период с 1999 г. в 2 раза на фоне плавного снижения использования форм «покорность» и «послушание». В то же время, нельзя не заметить изменения в употреблении слов «влияние» и «господство» в СМИ СНГ. Так, в 1999 г. «влияние» было одним из самых широко употребляемых слов (после «власти»), в то время как формы «господство» и «подчинение» употреблялись с одинаковой частотой, почти на 1,5 % реже, чем «влияние». В период с 1999 г. по 2006–2007 гг. ситуация кардинально изменилась: выросла частота употребления основы «господство» и сократилось употребление основы «влияние». К 2009 г. наблюдается новый рост употребления слова «влияние» по сравнению со словом «господство».

Особый интерес представляет сравнение динамики частоты встречаемости исследуемых слов в СМИ России и стран СНГ с динамикой частоты употребления этих же слов в русскоязычной зарубежной прессе и информагентствах (всего 105 изданий, среди них издания ближнего и дальнего зарубежья, в том числе, стран Балтии, Западной Европы, США, Канады, Азии и др.). Изменение частоты употребления слов в зарубежных СМИ представлено в следующей таблице (табл. 3).

<sup>2</sup> Соотношение частоты употребления слов в отечественной и зарубежной прессе и его временная динамика могут отражать не только содержание публикаций, но и специфику изданий, анализируемых в базе данных. Так, например, за последние 15 лет в базе данных СМИ России и стран СНГ, наряду с центральными изданиями, появилось много узкоспециализированных и развлекательных изданий, в то время как зарубежная пресса представлена в основном крупнейшими новостными изданиями.

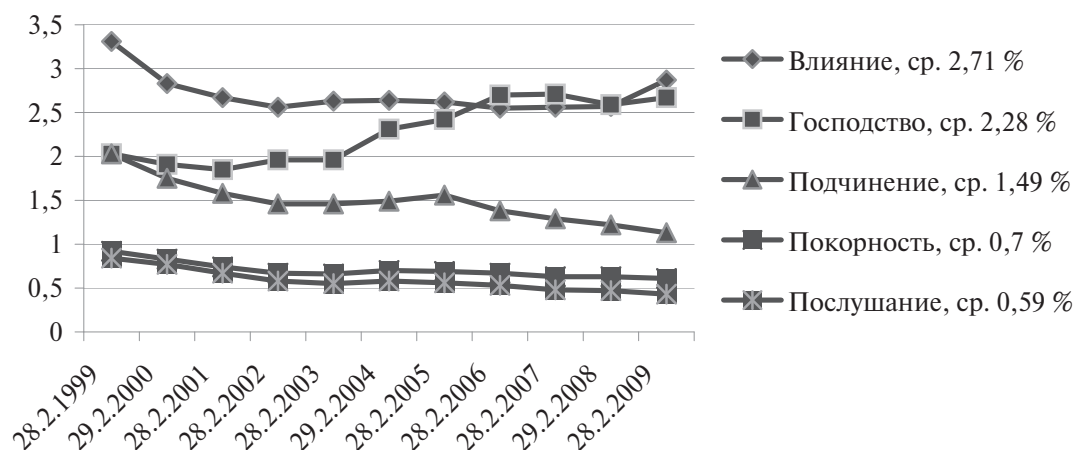


Рис. 1. Динамика частоты употребления слов (за исключением слова «власть») в СМИ России и стран СНГ (1999–2009 гг.)

Результаты проведенного анализа показывают, что в зарубежных русскоязычных СМИ слова ряда «власть-подчинение» встречаются значительно реже, чем в отечественных СМИ. Слова с основой «власть» употребляются чаще, чем остальные рассматриваемые слова, но «разрыв» в частоте употребления слов гораздо менее существенный, чем в СМИ СНГ. Более подробно соотношение частоты встречаемости остальных слов можно рассмотреть при исключении кривой «власть» (средняя частота: 4,08 %), «конформность» (средняя частота: 0,01 %) и «повиновение» (средняя частота: 0,03 %) (рис. 2).

На приведенном графике можно заметить тенденцию, наблюдавшуюся ранее в отечественных СМИ: синонимы слова «власть» встречаются в зарубежных СМИ чаще, чем слова с основой «подчинение», которые, в свою очередь, встречаются чаще других в своем синонимичном ряду. Не считая незначительных колебаний, за рассматриваемый временной период в зарубежных СМИ не наблюдается существенных изменений в употреблении слов, за исключением слов с основой «вли-

яние»: за последние 2 года употребление слова выросло почти в 1,5 раза.

Таким образом, анализ частоты употребления изучаемых слов за последние 11 лет в СМИ России и стран СНГ обнаружил несколько интересных тенденций:

- слова основы «власть» употребляются в СМИ в несколько раз чаще, чем остальные слова синонимичного ряда и слова, противоположные по значению;

- в период с 1999 по 2009 г. наблюдается сокращение в использовании словоформ с основой «власть» и «влияние» на фоне увеличения частоты употребления формы «господство» (что повторяет тенденцию употребления слов в документах советского периода);

- в 2008–2009 гг. употребление формы «власть» достигло минимального показателя на фоне увеличения употребления форм слова «влияние» и «господство»;

- слова основы «подчинение» являются наиболее употребляемыми в своем синонимичном ряду по сравнению с формами «послушание» и «покор-

Таблица 3

Употребляемые слова	Год	Частота упоминания слов в текстах СМИ относительно общего числа документов, %										
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Власть, ср. 4,80 %		2,71	4,19	6,00	5,51	5,18	4,95	4,7	4,93	4,63	5,19	4,85
Влияние, ср. 1,94 %		1,08	1,51	2,09	1,94	1,72	1,92	1,67	1,77	1,76	2,31	3,59
Господство, ср. 1,19 %		0,68	1,00	1,40	1,16	1,19	1,20	1,13	1,40	1,24	1,35	1,37
Подчинение, ср. 0,79 %		0,46	0,75	1,04	0,82	0,86	0,84	0,71	0,72	0,73	0,84	0,94
Покорность, ср. 0,35 %		0,19	0,3	0,43	0,39	0,40	0,42	0,32	0,39	0,34	0,35	0,3
Послушание, ср. 0,33 %		0,21	0,33	0,49	0,39	0,41	0,36	0,28	0,34	0,28	0,29	0,27
Повиновение, ср. 0,03 %		0,02	0,02	0,05	0,03	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
Конформность, ср. 0,01 %		0,01	0	0,02	0,01	0,02	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01



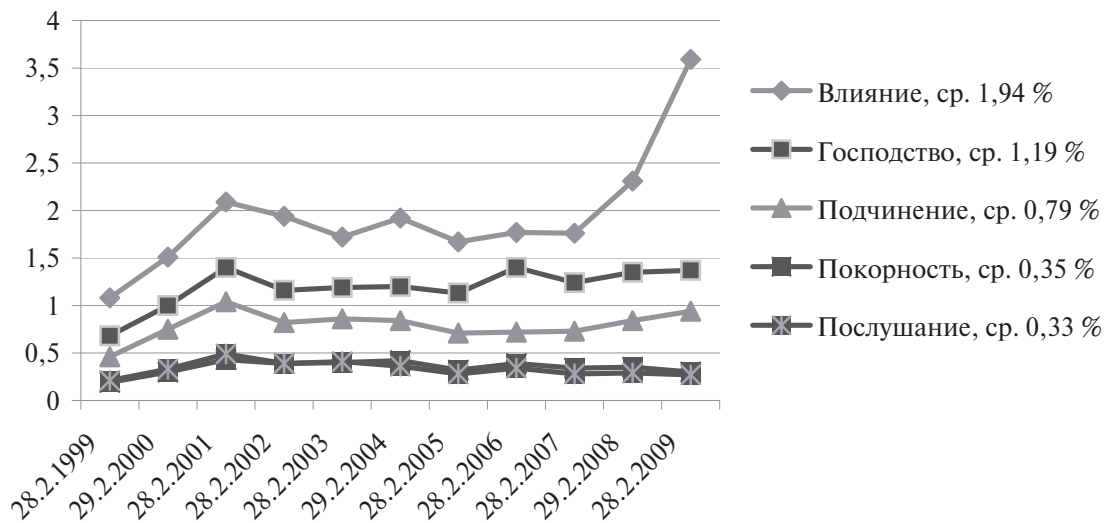


Рис. 2. Динамика частоты употребления слов (за исключением слова «власть») в зарубежных русскоязычных СМИ (1999–2009 гг.)

ность», синонимы «конформность» и «повиновение» употребляются в современных СМИ крайне редко;

– употребление слов основы «подчинение» снизилось в период с 1999 по 2009 г. в 2 раза на фоне плавного снижения использования форм «покорность» и «послушание»;

В свою очередь, анализ зарубежных русскоязычных СМИ в сравнении с результатами анализа отечественных СМИ позволяет сделать следующие выводы:

1) в зарубежных СМИ наблюдается сравнительно менее частое обращение к темам власти и подчинения;

2) на фоне относительно плавной динамики употребления рассматриваемых лексических форм в 2008–2009 гг. наблюдается резкое увеличение частоты употребления слов основы «влияние» в зарубежных СМИ.

Для объяснения причин динамики употребления рассматриваемых слов в массовой коммуникации требуется отдельное изучение взаимосвязи социальных представлений с изменениями социально-политических и экономических условий. Тем не менее, очевидна общая тенденция в увеличении использования основы «влияние», отражающей так называемую «мягкую» форму власти в СМИ зарубежной прессы на фоне противоположных тенденций в СМИ России и стран СНГ, где «влияние» постепенно заменяется «господством». Как было показано выше, преобладание в языке формы «господство» характерно для языка массовой коммуникации советского периода. Такие изменения отражают, очевидно, не только временное социополитическое состояние, но не-

кие более масштабные трансформации социальных представлений в отношении власти или изменение стратегии массовой информации в формировании этих представлений.

Средства массовой информации являются активным действующим субъектом социальной коммуникации, выполняя не столько отражательную, сколько регулирующую и формирующую функции. Формирующее влияние общественно-политической терминологии на массовое сознание привлекает внимание многих современных исследователей [14–16]. Так, обсуждая роль общественно-политической терминологии в массовой коммуникации, М. Н. Володина анализирует современные тенденции в употреблении термина «социализм», а также постепенное возвращение в массовую коммуникацию слова «офицер» [14]. Автор ссылается на немецкого исследователя Р. Бахема, изучающего «поляризацию мышления с помощью поляризированной лексики», сформированной СМИ Западной и Восточной Германии. Приводя примеры специфических «восточных» и «западных» терминов, исследователь называет их «языковыми отпечатками» ментальной картины, существующей в сознании людей, относящихся к одной социально-исторической общности [14]. Обнаруженное в нашем исследовании «противостояние» таких терминов, как «влияние» (в использовании иностранных СМИ) и «господство» (в использовании СМИ России и стран СНГ) может свидетельствовать о тенденции «поляризации» лексики массовой коммуникации.

В качестве одной из иллюстраций интеграции языка СМИ в массовом сознании реципиентов можно назвать ассоциативный эксперимент, про-

веденный на выборке российских и американских школьников в 1999 г. во время Косовского кризиса в Югославии. Эксперимент показал связь ментальных ассоциаций школьников со стратегиями убеждения, применявшимися в тот период средствами массовой информации США и России [15]. Подобным образом, уменьшение частоты употребления слова «власть» и его замена на слова «влияние» и «господство» могут указывать на тенденции дальнейшего изменения социальных представлений в отношении вопросов власти.

Преобладание в социальной коммуникации слов основы «подчинение» наряду с формами «послушание», «покорность», «конформность» и «повиновение» указывают на универсальный и обобщенный характер термина «подчинение» в русском языке. Используемые в психологических исследованиях специальные термины являются переводом на русский язык англоязычных слов, разделяющих между собой семантическое поле, присущее в русском языке понятию «подчинение». Подобное семантическое слияние под общим понятием «подчинения» принципиально различных по смыслу немецких философских терминов подчинения как «подчинения социальному порядку» и подчинения как личностной характеристики («раболепства») отмечается исследователями семантики «подчинения» в социально-политической терминологии [16]. При обсуждении возможных причин такого слияния авторы отмечают специфику социально-политической реальности, которую отражал русский язык в период перевода и заимствования иностранных философских терминов. В объединении социальных и частных значений подчинения под единым русскоязычным понятием «подчинения» авторы видят попытку социального «запрета» личностной семантики подчинения, что понимается как обеднение понятия вследствие его укрупнения [16, с. 66].

Универсализация концепта «подчинения» в русском языке, очевидно, требует дальнейшего лингвистического и исторического анализа. Однако, на наш взгляд, русскоязычная традиция укрупнения концепта «подчинения», напротив, выводит это понятие в ранг общей категории, что дает возможность для его всестороннего содержательного изучения. В том числе для рассмотрения отдельных форм подчинения как обладающих общими родовыми характеристиками, схожими механизмами функционирования и схожей феноменологией. Такой анализ было бы труднее осуществить, оперируя разными концептами, описывающими отдельные составляющие реальности властного взаимодействия.

#### Список цитированных источников

1. *Ледяев, В. Г.* Власть: концептуальный анализ / В. Г. Ледяев. — М.: РОССПЭН, 2001. — 384 с.
2. *Конфисахор, А. Г.* Психология власти / А. Г. Конфисахор. — 2-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Питер, 2004. — 235 с.
3. *Райгородский, Д. Я.* Психология и психоанализ власти: хрестоматия: в 2 т. / Д. Я. Райгородский. — Самара: Изд. Дом Бахрах, 1999. — 608 с.
4. *Журавлев, А. Л.* Социально-психологический анализ исполнительской деятельности / А. Л. Журавлев // Психол. журн. — 2007. — Т. 28, № 1. — С. 6–16.
5. *Александров, В. Б.* Культура подчинения / В. Б. Александров // Управленческое консультирование. — 2005. — № 3. — С. 28–33.
6. *Куликович, Т. О.* Трактовка понятия «подчинение» в психологии / Т. О. Куликович // Вестн. БГУ. — 2010.
7. *Абрамов, Н.* Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений / Н. Абрамов. — М.: Рус. слово, 1996. — 500 с.
8. Частотный словарь русского языка / под ред. Л. Н. Загоринной. — М.: Рус. яз., 1977. — 936 с.
9. *Integrum: точные методы и гуманитарные науки* / отв. ред.-сост. Г. Никипорец-Такигава. — М.: Летний сад, 2006. — 429 с.
10. *Новицкая, Е. В.* Использование информационно-поисковой системы Интегрум в гуманитарных исследованиях / Е. В. Новицкая // Пятнадцатая Юбилейная Международная конференция «Крым 2008»: «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» [Электронный ресурс]. — Судак, 2008. — Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2008/disk/125.pdf>. — Дата доступа: 01.11.2009.
11. *Хлопаева, Н. А.* Исследование медиaprостранства в процессе принятия управленческих решений / Н. А. Хлопаева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 21, Управление (государство и о-во). — 2007. — № 3. — С. 108–117.
12. *Кольцова, О.* Институт уполномоченного по правам человека: как и почему пресса его освещает / О. Кольцова // Институт Омбудсмана как институт государственной правозащиты: российский и международный опыт: сб. ст. / под ред. А. Ю. Сунгурова. — СПб.: Норма, 2007. — 225 с.
13. *Aho, M.* Information on Russia and Central Asia Needed by the Finnish Researchers of Humanities, Social Sciences and Economics / M. Aho, E. Nakala // Четырнадцатая Международная конференция «Крым 2007»: «Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса» [Электронный ресурс]. — Судак, 2007. — Режим доступа: <http://www.gpntb.ru/win/inter-events/crimea2007/eng/cd/5.pdf>. — Дата доступа: 08.10.2009.
14. *Володина, М. Н.* Язык СМИ — основное средство воздействия на массовое сознание / М. Н. Володина // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. — Ч. 1. — 458 с.
15. *Городецкая, Л. А.* Ассоциативный эксперимент в коммуникативных исследованиях / Л. А. Городецкая // Теория коммуникации и прикладная коммуникация. — Ростов н/Д: Изд-во ин-та менеджмента, бизнеса и права, 2002. — Вып. 1. — 80 с.
16. *Кострюкова, О. Н.* Семантический анализ концепта «подчинение» в поле оппозиции «приватное — публичное» / О. Н. Кострюкова, Г. Р. Осипов, А. А. Саренков // Полис (Полит. исслед.). — 2007. — № 1. — С. 62–70.

Дата поступления в редакцию: 17.03.2010 г.

УДК 159.923.2

## Проблема «Я-концепции» в мире современных компьютерных технологий в фокусе зарубежных теорий личности

**Ж. И. Трафимчик**, аспирант\*

*Статья посвящена изучению особенностей «Я-концепции» лиц с игровой компьютерной зависимостью на этапе юношеского возраста в фокусе зарубежных теорий личности. В ней представлены результаты эмпирического исследования нового компонента «Я-концепции» личности с игровой компьютерной зависимостью — «Я-виртуального».*

## The Problem of an „I-conception“ in a Modern World of a Computer Technology in a Hocus of a Foreign Theories of a Person

**Z. Trafimchyk**, Postgraduate Student

*This article represents interesting information about relevant problem of the „I-conception“ in the different foreign researches. The article deals with the importance of play in computer game for complete development of an „I-conception“ of junior — stage people with computer or video game addiction. The article contains the results of the empirical study of a new component of an „I-conception“ people with computer addiction as an „I-virtual“.*

Человеческое поведение складывается из ряда приспособлений к жизненным условиям, но каждый человек должен прийти к соглашению с самим собой точно так же, как и с другими особенностями своего мира. Понять, что делают люди, мы сможем только тогда, когда узнаем, что значит для самого себя каждый человек. Важно понять, что же человек считает самым собою, ибо многое из того, что он делает, логически вытекает из такого определения (Т. Шибутани) [1].

В мире современных компьютерных технологий наряду с выдающимися открытиями и достижениями становится актуальной проблема игровой компьютерной зависимости или зависимости от компьютерных игр. Игровая компьютерная зависимость рассматривается нами в качестве нового вида аддиктивного поведения личности. Данный вид зависимости определяется рядом исследователей (А. Г. Шмелев, Е. В. Змановская и др.) как аутодеструктивное или саморазрушительное поведение, угрожающее целостности и развитию самой личности, приводящее к серьезным изменениям самооценки и самосознания [2, 3]. Поэтому необходим психологический подход к личности с аддиктивным поведением, а именно игровой компьютерной зависимостью, ядром которой яв-

ляется «Я-концепция», отражающая особенности социализации, системы отношений к себе и внешнему миру.

Я (self), «Я-концепция», «Я-образ», «картина Я», «Я-схема», «самость», самооценка — что стоит за этими понятиями, чем они различаются, какое понятие наиболее полно отражает значимость самого себя для каждого отдельного человека? Данные понятия в социально-психологической литературе рассматриваются как синонимы, однако каждое из них в рамках отдельной теории личности имеет свою специфику. Дело состоит не столько в терминологической нестрогости гуманитарных наук, сколько в том, что разные исследователи заинтересованы разными аспектами проблемы личности и человеческого «Я».

Как научное понятие «Я-концепция» используется в литературе сравнительно недавно, однако это не означает, что данная психическая реальность не изучалась ранее. Первым из психологов начал разрабатывать проблематику «Я-концепции» У. Джемс. Глобальное, личностное «Я» он рассматривал как двойственное образование, в котором соединяются Я-сознающее и Я-как-объект [4]. Но если взять западную психологию в целом, то интерес к данной проблематике долгие годы был ослаблен из-за преобладания в ней бихевиористской традиции, для которой характерно нигилистическое отношение к исследованию соб-

\* Научный руководитель — кандидат психологических наук, доцент В. А. Поликарпов.

ственно психических процессов и сведение жизненных проявлений человека к внешне наблюдаемому поведению. Однако в 50-х гг. внимание западной научной общественности к проблематике человеческого Я и его уникальности резко возросло в рамках гуманистического или феноменалистического направления (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Комбс), сторонники которого обратились к целостному человеческому Я и его личностному самоопределению в микросоциальном окружении.

В первое десятилетие XX в. изучение «Я-концепции» временно переместилось из традиционного руслу психологии в область социологии. Главными теоретиками здесь стали Ч. Кули, Дж. Мид, Т. Шибутани – представители символического интеракционизма. Ими был предложен новый взгляд на индивида – рассмотрение его в рамках социального взаимодействия. Особое представление о проблеме «Я-концепции» – социально-когнитивная теория личности (А. Бандура, У. Мишел). Согласно социально-когнитивной теории, люди формируют понятие о себе и самооценке, но у них нет обобщенных «Я-концепций», так как глобальная «Я-концепция» не способна вместить множества образов самоэффективности, изменяющихся в зависимости от обстоятельств и видов деятельности. Считается, что человек обладает «Я-концепциями» и процессами самоконтроля [5, с. 429]. Особый интерес представляет собой подход английского ученого Р. Бернса относительно определения понятия «Я-концепция», ее формирования и развития, а также роли «Я-концепции» в жизни каждого человека. Р. Бернс рассматривает «Я-концепцию» человека как совокупность установок, направленных на самого себя, и выделяет три составляющие концепции Я: образ Я или когнитивную составляющую «Я-концепции», самооценку или оценочную составляющую «Я-концепции», потенциальную поведенческую реакцию или поведенческую составляющую «Я-концепции». Однако эти установки могут иметь различные ракурсы или модальности: реальное Я (представления о том, каков я есть на самом деле), зеркальное или социальное Я (представления индивида о том, как его видят другие), идеальное Я – представления индивида о том, каким он хотел бы стать.

Таким образом, «Я-концепция» – это не только констатация, описание черт своей личности, но и вся совокупность оценочных характеристик и связанных с ними переживаний. Все когнитивные характеристики «Я-концепции» человека содержат в себе скрытый оценочный смысл, источником которого является наша субъективная интерпретация реакций других людей на эти качества

через призму не только объективно существующих стандартов, но и общекультурных, групповых или индивидуальных ценностных представлений, усвоенных нами в течение жизни [6].

Начиная с 60-х гг. в психологии зарождалась так называемая когнитивная революция. Эта революция в психологии шла параллельно технологической революции в промышленности. Ведущими силами технологической революции были компьютер и связанные с ним новые способы переработки информации. В начале когнитивной революции понятию «Я», которое непросто было вписать в компьютерную модель, не уделялось должного внимания. Затем Х. Маркус сделала шаг, который подтолкнул многих начать исследования в этом направлении. Маркус предположила, что люди формируют когнитивные структуры, отражающие их Я точно так же, как они это делают в отношении других явлений. Подобные когнитивные структуры были названы Я-схемами. Я-схемы, в соответствии с когнитивным представлением о «Я» – это когнитивные обобщения в отношении себя, сделанные на основе прошлого опыта, которые упорядочивают и направляют процесс переработки информации, так или иначе связанной с «Я». В соответствии с этой точкой зрения, каждый из нас располагает семейством Я, содержание и организация которых уникальны [5, с. 458].

Недостаточная теоретическая и методологическая разработанность, а также практическая значимость подтолкнули нас к проведению психологического исследования особенностей «Я-концепции» молодых людей с игровой компьютерной зависимостью. В рамках исследования проведено изучение «Я-концепции» и ее подструктур (Я-реальное и Я-идеальное) у молодых людей с игровой компьютерной зависимостью. Также предпринята попытка выявить и изучить новый компонент «Я-концепции» молодых людей с игровой компьютерной зависимостью – Я-виртуальное и его взаимосвязи с другими компонентами Я-концепции (Я-реальным и Я-идеальным).

Исследование проводилось в одном из компьютерных клубов г. Минска в декабре 2007 г. – феврале 2008 г. Выборку исследования составили 113 молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. По результатам анкетирования с помощью теста Т. А. Никитина, А. Ю. Егорова на определение компьютерной и Интернет аддикции испытуемые были распределены на три группы: две экспериментальные – группа аддиктов и группа риска, и контрольная группа.

Группа аддиктов составила 23 человека (20 % объема выборки), в нее вошли молодые люди, ко-

торые играли в компьютерные игры каждый день по 5–6 часов и более. Группа риска составила 44 человека (39 % объема выборки), ее составили молодые люди, которые играли в компьютерные игры 3–4 раза в неделю по 3–4 часа в день. Контрольную группу составили 46 человек (41 % объема выборки), которые играли в компьютерные игры редко и в основном использовали компьютер с целью поиска информации в Интернете.

В соответствии со структурой формирования психологической зависимости от компьютерных игр, предложенной М. С. Ивановым [7], группа аддиктов находится на стадии зависимости от компьютерных игр (третьей стадии). Эта стадия характеризуется не только сдвигом потребности в игре на нижний уровень пирамиды потребностей, что эмпирически подтверждается в нашем исследовании, но и серьезными изменениями в ценностно-смысловой сфере личности, когда, по данным А. Г. Шмелева, происходит интернализация локуса контроля, изменение самооценки и самосознания [3, 8].

Группа риска, в свою очередь, находится на стадии увлеченности игрой (второй стадии). Фактором, свидетельствующим о переходе человека на эту стадию формирования зависимости, является появление в иерархии потребностей потребности играть в компьютерные игры. Структура новой потребности зависит от индивидуально-психологических особенностей самой личности. Иными словами, стремление к игре – это, скорее, мотивация, детерминированная потребностями бегства от реальности и принятия роли. Игра в компьютерные игры на этом этапе принимает систематический характер. Если человек не имеет постоянного доступа к компьютеру, иными словами, удовлетворение потребности фрустрируется, возможны достаточно активные действия по устранению фрустрирующих обстоятельств.

По результатам анкетирования были обнаружены следующие характеристики, свойственные молодым людям, попавшим в зависимость от компьютерных игр:

1) 67 % испытуемых предпочитают играть в компьютерные игры с видом «из глаз» «своего» героя; этот тип игр характеризуется наибольшей силой «затягивания» или «вхождения» в игру. Специфика здесь в том, что вид «из глаз» провоцирует играющего к полной идентификации с компьютерным персонажем, к полному вхождению в роль. Через несколько минут игры (время варьируется в зависимости от индивидуальных психологических особенностей и игрового опыта играющего) человек начинает терять связь с реальной жизнью, полностью концентрируя внимание на игре, пере-

нося себя в виртуальный мир. Играющий может излишне серьезно воспринимать виртуальный мир, а действия своего героя считать своими. У человека появляется мотивационная включенность в сюжет игры [7];

2) во время компьютерных игр молодые люди в основном испытывают такие эмоциональные состояния, как облегчение, азарт и расслабление. При этом что 67 % респондентов отметили, что в реальной жизни они не имеют возможности расслабиться. В этой связи может показаться, что ролевые компьютерные игры служат средством снятия стрессов, снижения уровня депрессии, т. е. своего рода терапевтическим методом;

3) 67 % отмечают отрицательное отношение к их увлечению со стороны родителей, что указывает на наличие психологических проблем и конфликтов в семье испытуемых по поводу их чрезмерной увлеченности компьютерными играми;

4) 50 % часто откладывают встречи с друзьями и личные дела из-за компьютерных игр;

5) 33 % отмечают, что игры становятся причиной проблем с учебой или работой; это свидетельствует о том, что в структуре хобби и деятельности молодых людей они начинают доминировать;

6) 33 % говорят о том, что в реальной жизни они испытывают одиночество; одним словом, возникает потребность уйти от этой реальности, «погрузившись» в другую реальность – виртуальную.

В качестве диагностического метода в исследовании была использована методика изучения стилей межличностного взаимодействия (опросник Т. Лири). Методика Т. Лири относится к группе так называемых контрольных списков и по своим функциям приближается к личностным опросникам. С ее помощью можно получить сведения о межличностных отношениях и личностных особенностях, которые существенны для интерперсонального взаимодействия. Методика полифункциональна и применяется для исследования представлений субъекта о себе и о других, точности межличностного восприятия, оценки социального поведения личности, взаимоотношений в малой группе, самооценки, «идеала Я», стиля руководства и др. [2, с. 126]. Материал теста представляет собой перечень из 128 прилагательных, характеризующих различные варианты межличностного поведения. Испытуемому предлагалось описать с помощью данного перечня прилагательных различные реально существующие или воображаемые объекты: себя («реальное Я»), себя воображаемого («идеальное Я»), а также себя в виртуальной реальности компьютерной игры («виртуальное Я»).

Изучение структурных компонентов «Я-концепции» в группе аддиктов показало следующее: особую специфичность представляет образ Я-виртуальное, который характеризуется значительной выраженностью всех стилей интерперсонального взаимодействия в виртуальной реальности компьютерной игры. Мы предполагаем, что данное обстоятельство можно интерпретировать следующим образом: компьютерная игра дает возможность проиграть различные способы взаимодействия, различные «Я-концепции» или Я-схемы в виртуальной реальности компьютерной игры. В компьютерной игре молодой человек принимает роль компьютерного персонажа «властного и лидирующего», «независимого и доминирующего», «недоверчиво-скептического», «прямолинейно-агрессивного» с одной стороны, и «покорно-застенчивого», «зависимого и послушного», «сотрудничающего и конвенциального», «ответственного и великодушного» — с другой.

Практически по всем шкалам, предложенным в методике Т. Лири, в группе молодых людей с игровой компьютерной зависимостью были выявлены значимые различия при сравнении образов Я-реального, Я-идеального и Я-виртуального. Это дает возможность сделать следующие заключения:

1) образ Я-реальное не идентифицируется с образом Я-виртуальное и является практически полной его противоположностью;

2) образ Я-идеальное не идентифицируется с образом виртуального героя компьютерной игры. Напротив, образ идеального «Я» является полной противоположностью образу виртуального Я. Следовательно, молодые люди, зависимые от компьютерных игр, идентифицируют себя с антиидеалом и используют компьютерную игру с целью принятия роли персонажа, который является полной противоположностью их представлением об идеальном человеке;

3) образ Я-реальное не соответствует представлению молодых людей о том, какими они хотели быть в идеале. С точки зрения некоторых теорий личности, данный факт может интерпретироваться как наличие внутриличностного конфликта и является свидетельством высокой невротизации личности.

При изучении внутренней взаимосвязи и согласованности образов Я-реального, Я-идеального и Я-виртуального были получены следующие результаты:

1) при анализе взаимосвязи образов Я-реального и Я-виртуального в группе аддиктов значимых связей по восьми стилям интерперсонального взаимодействия обнаружено не было, что говорит об

отсутствии внутренней взаимосвязи между ними, уходе молодых людей, зависимых от компьютерных игр, от реальности в виртуальный мир;

2) при анализе взаимосвязи образов Я-виртуального и Я-идеального в группе аддиктов были выявлены отрицательные корреляционные взаимосвязи по пяти стилям интерперсонального взаимодействия, что подтверждает наличие отрицательной взаимосвязи между образами Я-виртуальное и Я-идеальное. Я-виртуальное выступает у них в качестве своеобразного антиидеала;

3) при сравнении образов Я-реального и Я-идеального в группе аддиктов были получены отрицательные корреляционные связи по семи стилям интерперсонального взаимодействия. Данное обстоятельство можно интерпретировать следующим образом: образ Я-реальное противопоставляется образу Я-идеальное.

Следовательно, молодые люди с игровой компьютерной зависимостью обладают неустойчивой «Я-концепцией», характеризующейся рассогласованностью ее компонентов. Личностная дисгармония характеризуется существованием нереалистического собственного идеала, а также несоответствием между «Я-концепцией» и идеальным Я. В рамках когнитивного и информационно-процессуального подходов люди настойчиво стремятся получить от других свидетельства, подтверждающие их Я-схемы, и представляют себя другим таким образом, чтобы породить эти свидетельства. Причем, в соответствии со взглядами Суонна, люди стремятся к самоподтверждению даже тогда, когда их Я-схемы являются негативными. То есть человек, имеющий негативную Я-схему, будет искать информацию и обратную связь от окружающих, которые подтвердят его негативную Я-схему [5, с. 505]. Мы предполагаем, что именно в виртуальной реальности компьютерной игры юноша имеет возможность получить подтверждение не только позитивных, но и негативных Я-схем. Кроме этого, в компьютерной игре юноша создает новый образ Я, или новую для себя Я-схему — Я-виртуальное, которое значительно отличается как от представлений индивида о том, каков он есть на самом деле, так и от его представлений о том, каким он хотел бы стать. Однако, в соответствии с взглядами Роджерса, очень высокая вариабельность «Я-концепции» неблагоприятна для психического здоровья, поскольку свидетельствует о фрагментарности и отсутствии единого «ядра» Я [5, с. 211].

Таким образом, неумеренное использование компьютерной игры приводит к формированию игровой компьютерной зависимости и таким психопатологическим симптомам, как неустойчи-

вость «Я-концепции», фрагментарность и рассогласованность ее компонентов и, как следствие, отсутствие единого ядра Я и высокая степень невротизации личности.

Результаты проведенного изучения «Я-концепции» лиц с игровой компьютерной зависимостью позволяют разработать ряд рекомендаций для практических психологов, работающих с ними. Эта работа должна включать:

1. Психокоррекционные мероприятия, направленные на формирование целостной, стабильной и зрелой «Я-концепции» молодого человека, в том числе:

а. Психокоррекционную работу с когнитивной составляющей Я-концепции, а именно:

i) работу с образом «Я-реальное», помощь юношам в поиске себя и осознании своей особенности и неповторимости как личности;

ii) работу с образом «Я-идеальное», определяющим направление, в котором личность должна двигаться в процессе ее самосовершенствования;

iii) разрешение внутриличностного конфликта, проявляющегося в рассогласованности образов «Я-реальное» и «Я-идеальное».

б. Психокоррекционную работу с оценочной составляющей «Я-концепции», а именно:

i) выработку собственной, независимой системы эталонов самооценивания и самоотношения, способствующей осознанному построению поведения молодого человека, страдающего игровой компьютерной зависимостью;

ii) выработку позитивного отношения к себе как личности, способной самостоятельно разрешать возникающие проблемы и конфликты, способной к самореализации и самосовершенствованию.

с. Психокоррекционную работу с поведенческой составляющей «Я-концепции», а именно:

i) психокоррекцию дезадаптации личности, страдающей игровой компьютерной зависимостью, формирование согласованности реального опыта личности и ее «Я-концепции».

2. Психокоррекционную и психоконсультативную работу с ближайшим социальным окружением молодого человека, зависимого от компьютерных игр.

#### Список цитированных источников

1. Шибутани, Т. Социальная психология / Т. Шибутани; пер. с англ. В. Б. Ольшанского. – Ростов н/Д: Феникс, 1998. – 544 с.

2. Змановская, Е. В. Психология девиантного поведения: структурно-динамический подход / Е. В. Змановская. – СПб.: С.-Петербург. ун-т МВД России, 2005. – 274 с.

3. Шмелев, А. Г. Психодиагностика и новые информационные технологии / А. Г. Шмелев // Компьютеры и познание. – М.: Наука, 1990. – С. 95.

4. Джемс, У. Личность / У. Джемс // Психология. – М., 2002. – С. 130–152.

5. Первин, Л. Психология личности: теория и исследования / Л. Первин, О. Джон; под ред. В. С. Магуна. – М.: Аспект Пресс, 2001. – 607 с.

6. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс; пер. с англ. В. Я. Пилиповского. – М.: Прогресс, 1986. – 420 с.

7. Иванов, М. С. Психологические аспекты негативно-влияния игровой компьютерной зависимости на личность человека / М. С. Иванов // Психология зависимости: хрестоматия / сост. К. В. Сельченко. – Минск: Харвест, 2004.

8. Шмелев, А. Г. Мир поправимых ошибок / А. Г. Шмелев // Вычислительная техника и ее применение. Компьютерные игры. – 1988. – № 3. – С. 16–84.

Дата поступления в редакцию: 14.09.2009 г.

# ТРЕБОВАНИЯ

## к статьям, предоставляемым в журнал «Философия и социальные науки»

### 1. Научная статья должна включать следующие элементы:

- УДК;
- фамилию и инициалы автора (авторов) статьи, ее название – все на русском (либо белорусском) и английском языках;
- аннотацию на русском (белорусском) и английском языках;
- основной текст, включающий таблицы, графики и другой иллюстративный материал, выполненный только в черно-белой гамме, передающийся в электронном виде отдельным файлом;
- список цитированных источников.

### 2. Общий объем статьи – от 14 000 до 20 000 печатных знаков с пробелами.

Аннотация должна ясно излагать содержание статьи и быть пригодной для опубликования в аннотациях к журналам отдельно от статьи (до 300 знаков, 3–4 предложения).

Иллюстрации, формулы, графики, таблицы и уравнения, встречающиеся в статье, должны быть пронумерованы в соответствии с порядком их появления в тексте. В тексте сноски с примечанием вставляются вручную без автоматической нумерации и обозначаются символом (\*).

Нумерация ссылок на источники должна выполняться в последовательном цифровом порядке (начиная с «1») по мере появления в тексте каждой очередной ссылки на следующий источник из перечисленных в списке, приводимом в конце статьи. Ссылки помещаются в квадратные скобки и при необходимости могут содержать указание на цитируемую страницу (например: [1] либо [1, с. 32]). При ссылке сразу на несколько источников они разделяются запятыми, тире либо точкой с запятой (например: [7; 11; 14], [4; 6–9; 12], [2; 3, с. 27; 15–17] и т. п.).

Сведения об источниках в списке необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–03 (фамилия и инициалы автора, название, том, год издания, номер и выпуск).

### 3. Требования к оформлению текста.

Текст статьи должен быть набран в формате MS Word, шрифт – Times New Roman, 14, абзац – отступ 1, межстрочный интервал – одинарный. Выделение в тексте выполняется курсивом. Основной текст отделяется от названия интервалом в одну строку.

### 4. Для принятия статьи необходимы:

- 1) письменная рецензия научного руководителя (для аспирантов и соискателей ученой степени);
- 2) сведения об авторе: Ф. И. О., домашний адрес и телефон (дом. и моб.), место работы, должность и степень (если есть), для аспирантов – специальность, кафедра, научный руководитель.

Статьи предоставляются на факультет философии и социальных наук Белорусского государственного университета (г. Минск, ул. Кальварийская, 9, комн. 626) ответственному секретарю Добродородному Даниле Григорьевичу в распечатанном (1 экз.) и электронном виде (на дискете, имя файла – фамилия автора).

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора рукописей для публикации. Редакция может публиковать статьи в порядке их обсуждения, не разделяя точку зрения автора. Ответственность за приводимые в материалах факты несут авторы. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка опубликованных материалов допускается только с письменного разрешения редакционной коллегии и авторов.

### Справочная информация:

[www.ffsn.bsu.by](http://www.ffsn.bsu.by)

e-mail: [danila\\_dobr@mail.ru](mailto:danila_dobr@mail.ru)

тел.: 259-70-84, моб. тел.: +375-29-709-31-87, факс: (+375-17) 259-70-47.